

Айн Рэнд

# ИСТОЧНИК



На протяжении нескольких десятилетий этот роман остается в списке бестселлеров мира и для миллионов читателей стал классикой. Главный герой романа, Говард Рорк, ведет борьбу с обществом за свое личное право на творчество. Фанатичная косность окружающих вынуждает его предпринимать экстраординарные действия. И совсем необычна связь Рорка с влюбленной в него женщиной, которая впоследствии становится женой его злейшего врага. Через перипетии судеб героев и увлекательный сюжет автор проводит главную идею книги — ЭГО является источником прогресса человечества. Идея непривычная для России; тем интереснее будет широкому кругу читателей познакомиться с героями, которые утверждают ее своей жизнью.

Части 1 - 2.

---



# ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, уважаемый читатель, в Ваших руках второй том собрания сочинений Айн Рэнд.

Первый роман — «Мы — живые» — рассказывает о большевизации России в 20-е годы. Он привлекателен для нас, российских читателей, в первую очередь объективным описанием событий, известных нам по многочисленным другим источникам. Этим романом Рэнд исполнила свой долг перед оставшимися в России людьми и рассказала миру о «большом кладбище», в которое превратилась ее родина.

Роман «Источник» (в 2-х книгах) — произведение иного порядка. В нем более четко определена жизненная позиция автора, показаны основы ее философии.

Впрочем, любитель увлекательного чтения может не пугаться — в романе нет скучных философских рассуждений. Несмотря на внушительный объем, сюжет захватывает с первых страниц и очень трудно оторваться от чтения, не узнав, чем закончится тот или иной его поворот. И тем не менее, «Источник» — в значительной степени философский роман.

Рэнд говорила: «Если бы от всех философов потребовали представить их идеи в форме романов и драматизировать точное, без тумана, значение и последствия их философии в человеческой жизни, философов стало бы намного меньше, но они были бы намного лучше». Неудивительно поэтому, что философские идеи интересовали ее только в том смысле, в каком они влияют на реальное существование человека. Кстати, к этому Рэнд добавляла, что и сами люди интересуют ее только в том смысле, в каком они преломляют в себе философские идеи.

Как философ А. Рэнд представила новую моральную теорию, как романист — искусно вплела ее в увлекательное художественное произведение. В чем же суть этой новой морали?

Русского человека с детства приучали (и при большевиках, и задолго до их революции), что благополучие общины, отечества, государства, народа и еще чего-то подобного неизмеримо важнее <то личного благополучия, что добиваться личного счастья, не считаясь с интересами некоего коллектива, значит быть эгоистом. А это, конечно же, аморально, то есть очень-очень плохо.

Айн Рэнд категорически и без всяких оговорок отвергает приоритет чьих бы то ни было интересов над интересами личности. «Я клянусь своей жизнью и любовью к этой жизни, — писала она, — что никогда не буду жить во имя другого человека и не заставлю другого человека жить во имя меня».

Казалось бы, все просто: живи в свое удовольствие, добивайся благополучия для себя самого. Только в чем оно, это благополучие? Вкусно есть и сладко спать? Но в том-то и дело, что для такого благополучия совсем не обязательна свобода. Более того, она мешает получать от жизни примитивные удовольствия, принуждая думать, принимать решения, рисковать и нести ответственность за свои действия, — по меньшей мере перед самим собой. Видимо, не случайно лидеры тоталитарных неофашистских режимов пользуются популярностью. И дело вовсе не в них как лидерах, а в миллионах ленивых умом и жаждущих максимально сильной власти над собой, поскольку только она, сильная власть, способна без проволочек решить все их личные проблемы и дать возможность удовлетворения всех их низменных инстинктов.

Говард Рорк, главный герой романа, видит свое личное благополучие в любимой работе и в том, чтобы делать ее так, как он считает нужным. Он архитектор. Он предлагает проекты домов, но общество не принимает их. Общество требует традиционных решений. Однако Рорк не поддается общему течению и, усложняя себе личную жизнь, борется за свое право на творчество. Так, может быть, он заботится о людях, которые будут жить в его домах, и ради них мучается и страдает?

Говард Рорк — эгоист высшей пробы. Люди в его жизни играют второстепенную роль. Личное счастье и благополучие он находит в самом процессе созидания. Не во имя кого-то или чего-то, а только во имя себя! Он, как всякий истинный творец, не ждет похвал и признания окружающих. Он работает не ради них и не ради их благодарности. Он уже получил наивысшее удовлетворение от работы в процессе самой работы и может бесконечно наслаждаться, созерцая творение своего разума.

«Главной целью этой книги, — писала А. Рэнд, — является защита эгоизма в его настоящем смысле». Но автор не только защищает эгоизм, она утверждает, что эго личности — источник прогресса человечества.

Идеи Айн Рэнд многим покажутся новыми и спорными. Мы готовы вступить в дискуссию с каждым желающим. Кстати сказать, уже после первой рекламной публикации в газете «Книжное обозрение» (ноябрь 1993 года) издательский отдел Ассоциации бизнесменов Санкт-Петербурга получил много писем от граждан России с заявками на книги А. Рэнд. Россияне надеются обрести с помощью этих книг способность противостоять жизненным трудностям и силу духа, ведущую к личному счастью и благополучию. Мы твердо убеждены в том, что идеи Айн Рэнд помогут каждому принявшему их своим разумом.

*Д. Костыгин*

Фрэнку О'Коннору



Говард Рорк смеялся.

Он стоял обнаженный на краю утеса. У его подножья расстилалось озеро. Всплеск гранита взметнулся к небу и застыл над безмятежной водой. Вода казалась недвижимой, утес — плывущим. В нем чувствовалось оцепенение момента, когда один поток сливается с другим — встречным и оба застывают на мгновение, более динамичное, чем само движение. Поверхность камня сверкала, щедро облизанная солнечными лучами.

Озеро казалось лишь тонким стальным диском, филигранно разрезавшим утес на две части. Утес уходил в глубину, ничуть не изменившись. Он начинался и заканчивался в небе. Весь мир, казалось, висел в пространстве, словно покачивающийся в пустоте остров, прикрепленный якорем к ногам человека, стоящего на скале.

Он стоял на фоне неба, расправив плечи. Длинные прямые линии его крепкого тела соединялись углами суставов; даже рельефные изгибы мышц казались разломленными на касательные. Руки с развернутыми ладонями свисали вниз. Он стоял, чувствуя свои сведенные лопатки, напряженную шею и тяжесть крови, прилившей к ладоням. Ветер дул сзади — он ощущал его желобком на спине — и трепал его волосы, не светлые и не каштановые, а в точности цвета корки спелого апельсина.

Он смеялся над тем, что произошло с ним этим утром, и над тем, что еще предстояло.

Он знал, что предстоящие дни будут трудными. Остались нерешенные вопросы, нужно было выработать план действий на ближайшее время. Он знал, что должен позаботиться об этом, но знал также, что сейчас ни о чем думать не будет, потому что в целом ему все уже было ясно, общий план действий давно определен и, наконец, потому что здесь ему хотелось смеяться.

Он только что попробовал обдумать все эти вопросы, но отвлекся, глядя на гранит.

Он уже не смеялся; взгляд его замер, вбирая в себя окружающий пейзаж. Лицо его было словно закон природы — неизменный, неумолимый, не ведающий сомнений. На лице выделялись высокие скулы над худыми впалыми щеками, серые глаза, холодные и пристальные, презрительный плотно сжатый рот — рот палача или святого.

Он смотрел на гранит, которому, думал он, предстоит быть расчлененным и превращенным в стены, на деревья, которые будут распилены на стропила. Он видел полосы окисленной породы и думал о железной руде под землей, переплавленная, она обретет новую жизнь, взметнувшись к небу стальными конструкциями.

Эти горы, думал он, стоят здесь для меня. Они ждут отбойного молотка, динамита и моего голоса, ждут, чтобы их раздробили, взорвали, расколотили и возродили. Они жаждут формы, которую им придадут мои руки.

Затем он тряхнул головой, снова вспомнив о том, что произошло этим утром, и о том, что ему предстоит много дел. Он подошел к самому краю уступа, поднял руки и нырнул вниз.

Переплыв озеро, он выбрался на скалы у противоположного берега, где оставил свою одежду. Он с сожалением посмотрел по сторонам. В течение трех лет, с тех пор как поселился в Стентоне<sup>[1]</sup>, всякий раз, когда удавалось выкроить часок, что случалось не часто, он приходил сюда, чтобы расслабиться: поплавать, отдохнуть, подумать, побыть одному, вдохнуть полной грудью. Обретя свободу, он первым делом захотел вновь прийти сюда. Он знал, что видит эти скалы и озеро в последний раз. Этим утром его исключили из школы архитектуры Стентонского технологического института.

Он натянул старые джинсы, сандалии, рубашку с короткими рукавами, лишенную большинства пуговиц, и зашагал по узкой стежке среди валунов к тропе, сбегавшей по зеленому

склону к дороге вниз.

Он шел быстро, спускаясь по вытянувшейся далеко вперед, освещенной солнцем дороге со свободной и небрежной грацией опытного ходока. Далеко впереди лежал Стентон, растянувшийся вдоль побережья залива Массачусетс. Городок выглядел оправой для жемчужины — известного института, возвышавшегося на холме.

Стентон начался свалкой. Унылая гора отбросов высилась среди травы, слабо дымя. Консервные банки тускло блестели на солнце. Дорога вела мимо первых домов к церкви — готическому храму, крытому черепицей, окрашенной в голубой цвет. Вдоль стен здания громоздились прочные деревянные опоры, ничего не поддерживающие, сверкали витражи с богатым узором из искусственного камня. Отсюда открывался путь в глубь длинных улиц, окаймленных вычурными, претенциозными лужайками. В глубине лужаек стояли деревянные домищи уродливой формы — с выпирающими фронтонами, башенками, слуховыми окнами, выпяченными портиками, придавленными тяжестью гигантских покатых крыш. Белые занавески колыхались на окнах, у боковых дверей стоял переполненный мусорный бак. Старый пекинес сидел на подушечке рядом с входной дверью, из полураскрытой пасти его текла слюна. Пленки развевались на ветру между колоннами крыльца.

Люди оборачивались вслед Говарду Рорку. Некоторые застывали, изумленно глядя на него с неожиданным и необъяснимым негодованием, — это было инстинктивное чувство, которое пробуждалось у большинства людей в его присутствии. Говард Рорк никого не видел. Для него улицы были пустыни, он мог бы совершенно спокойно пройти по ним голым.

Он пересек центр Стентона — широкий заросший зеленью пустырь, окаймленный окошками магазинов. Окошки кичились свежими афишами, возвещавшими: «Приветствуем наших выпускников! Удачи вам!» Сегодня днем курс, начавший обучение в Стентонском технологическом институте в 1922 году, получал дипломы.

Рорк медленно направился по улице туда, где в конце длинного ряда строений на пригорке над зеленой ложиной стоял дом миссис Китинг. Он три года снимал комнату в этом доме.

Миссис Китинг была на веранде. Она кормила пару канареек, сидевших и подвешенной над перилами клетке. Ее пухлая ручка замерла на полпути, когда она увидела Говарда. Она с любопытством смотрела на него и пыталась соорудить гримасу, долженствующую выразить сочувствие, но преуспела лишь в том, что показала, какого труда ей это стоит.

Он шел через веранду, не обращая на нее внимания. Она остановила его:

— Мистер Рорк!

— Да.

— Мистер Рорк, я так сожалею... — Она запнулась. — О том, что случилось этим утром.

— О чем? — спросил он.

— О вашем исключении из института. Не могу передать вам, как мне жаль; я только хотела, чтобы вы знали, что я вам сочувствую.

Он стоял, глядя на нее. Миссис Китинг казалось, что он ее не видит, но она знала, что это не так. Он всегда смотрит на людей в упор, и его проклятые глаза ничего не упускают. Один его взгляд внушает людям, что их как будто и не существует. Говард просто стоял и смотрел, не отвечая ей.

— Но я считаю, — продолжала она, — что если кто-то в этом мире страдает, то только по недоразумению. Конечно, теперь вы вынуждены будете отказаться от профессии архитектора, разве нет? Но молодой человек всегда может заработать на приличную жизнь, устроившись клерком, в торговле или где-нибудь еще.

Он повернулся, собираясь уйти.

— О, мистер Рорк! — воскликнула она.



— Да?

— Декан звонил вам в ваше отсутствие. — На этот раз она надеялась дожидаться от него какой-нибудь реакции; это было бы все равно что увидеть его сломленным. Она не знала, что в нем было такого, из-за чего у нее всегда возникало желание увидеть его сломленным.

— Да? — спросил он.

— Декан, — повторила она неуверенно, пытаясь вернуть утраченные позиции. — Декан собственной персоной, через секретаря.

— Ну и?

— Она велела передать вам, что декан хочет видеть вас немедленно после вашего возвращения.

— Спасибо.

— Как вы полагаете, чего он может хотеть *сейчас*?

— Не знаю.

Он сказал: «Не знаю», а она отчетливо услышала: «Мне плевать». И недоверчиво уставилась на него.

— Кстати, — сказала она, — у моего Питти сегодня выпускной вечер. — Она сказала это совершенно не к месту.

— Сегодня? Ах, да.

— Это великий день для меня. Когда я думаю о том, как сэкономила, вкалывала, как рабыня, чтобы дать мальчику образование... Не подумайте, что я жалуюсь. Я не из тех, кто жалуется. Питти — очень одаренный мальчик. Но конечно, — торопливо продолжала она, оседлав любимого конька, — я не из тех, кто хвастается. Одним матерям повезло, другим — нет. Мы все имеем то, чего заслуживаем. Питти себя еще покажет. Я не принадлежу к тем, кто хочет, чтобы их дети убивали себя работой, и буду благодарна Господу, если к моему мальчику придет даже малый успех. Но даже его мать понимает, что он пока еще не лучший архитектор Соединенных Штатов.

Он сделал движение, намереваясь уйти.

— Но что же это я делаю, болтая здесь с вами! — проворковала она весело. — Вам нужно поторапливаться — переодеться и бежать. Декан ждет вас.

Миссис Китинг стояла, глядя через дверь веранды вслед его худощавой фигуре, пересекавшей ее строгую, аккуратную гостиную. Он всегда заставлял ее чувствовать себя неуютно, пробуждая неясное предчувствие, будто он вот-вот не спеша развернется и вдребезги разобьет ее кофейные столики, китайские вазы, фотографии в рамках. Он никогда не проявлял подобной склонности, но она, не зная почему, все время ожидала этого.

Рорк поднялся к себе в комнату. Это была большая пустая комната, светлая от чисто оштукатуренных стен. У миссис Китинг никогда не было чувства, что Рорк действительно здесь живет. Он не добавил ни единой вещи к самому необходимому из обстановки, которой она великодушно снабдила комнату, ни картины, ни вымпела — ни одной теплой человеческой мелочи. Он ничего не принес в комнату, кроме одежды и чертежей — немного одежды и очень много чертежей, загромоздивших весь угол. Иногда миссис Китинг думала, что здесь живут чертежи, а не человек.

Рорк и пришел за чертежами — их нужно было упаковать и норную очередь. Он поднял один из них, потом другой, затем еще один и встал, глядя на широкие листы.

Это были эскизы зданий, подобных которым не было на земле — словно их создал первый человек, родившийся на свет, никогда не слышавший о том, как строили до него. О них нечего было сказать, кроме того, что каждое было именно тем, чем должно быть. Они выглядели совсем не так, будто проектировщик, натужно размышляя, сидел над ними, соединяя двери,

окна, колонны в соответствии с книжными предписаниями, приукрашивая все по своей прихоти, пытаясь вычурностью форм скрыть отсутствие идеи. Дома как будто выросли из земли с помощью некой живой силы — совершенной и беспристрастно правильной. Руке, прочертившей тонкие карандашные линии, еще многому предстояло учиться, но не было штриха, казавшегося лишним, не было ни одной пропущенной плоскости. Здания выглядели строгими и простыми, но лишь до тех пор, пока кто-нибудь не начинал рассматривать их ближе и не понимал, каким трудом, какой сложностью метода, каким напряжением мысли достигнута эта простота. И не было законов, определивших какую-либо деталь. Эти здания не были ни готическими, ни классическими, ни ренессансными. Они были только творениями Говарда Рорка.

Он стоял, глядя на эскиз. Это был тот самый эскиз, который до сих пор его не удовлетворял. Он начертил его как упражнение, которое придумал себе сверх учебных заданий; Говард часто делал так, когда находил какое-нибудь особенно интересное место и останавливался прикинуть, какой дом там должен стоять. Он проводил целые ночи, уставившись в этот эскиз, желая понять, что упустил. Взглянув на него теперь, без подготовки, он увидел ошибку.

Он швырнул эскиз на стол и склонился над ним, набрасывая четкие линии прямо поверх своего аккуратного рисунка. Время от времени он останавливался и распрямлялся, чтобы взглянуть на весь лист; кончики его пальцев сжимали бумагу, словно дом был в его длиннопалых, с выпуклыми венами и выпирающими костями руках.

Часом позже он услышал стук в дверь.

— Войдите! — крикнул он, не отрываясь от чертежа.

— Мистер Рорк! — Миссис Китинг разинула рот, уставившись на него через порог. — Что вы делаете?

Он обернулся и взглянул на нее, пытаясь припомнить, кто она такая.

— А как же декан? — простионала она. — Декан, который ждет вас.

— А, — сказал Рорк. — Ах да. Я забыл.

— Вы... забыли?

— Да. — Нотка изумления появилась в его голосе, он был удивлен ее удивлением.

— Хорошо. Только вот что я хотела сказать. — Она поперхнулась. — Вас исключили — и правильно сделали. Очень правильно. Церемония начинается в четыре тридцать, а вы надеетесь, что декан найдет время поговорить с вами?

— Я иду сейчас же, миссис Китинг.

Ее толкало к действию не только любопытство; это был тайный страх, что приговор совета может быть отменен. Рорк направился в ванную в конце холла. Она наблюдала за ним, пока он умывался, приводил свои разметанные прямые волосы в некое подобие порядка. Он снова вышел и уже было направился к лестнице, когда она поняла, что он уходит.

— Мистер Рорк! — Она удивленно указывала на его костюм. — Вы же не пойдете в этом?

— А почему бы и нет?

— Но ведь это ваш декан!

— Теперь уже нет, миссис Китинг.

Она ошеломленно подумала, что он сказал это так, будто был совершенно счастлив.

Стентонский технологический институт стоял на холме, его зубчатые стены подобно короне возвышались над распростертым внизу городом. Институт выглядел средневековой крепостью с готическим собором, поднимающимся в центре. Крепость полностью соответствовала своему назначению — у нее были крепкие кирпичные стены с редкими бойницами достаточной для размещения стражи ширины; валами, позади которых могли ходить обороняющиеся лучники; угловыми башнями, с которых на атакующих можно было лить кипящее масло — если бы таковая необходимость появилась у учебного заведения. Собор

высился над всем этим в своем резном великолепии — тщетная защита от двух злейших врагов: света и воздуха.

Кабинет декана походил на часовню, призрачный сумрак питался через единственное высокое окно с витражом. Мутный свет просачивался через одежды пораженных столбняком святых, неестественно выгнувших руки в локтях. Красное и багровое пятна покоились на подлинных фигурках химер, свернувшихся в углах камина, который никогда не топили. Зеленое пятно лежало в центре изображения Парфенона<sup>[2]</sup>, висевшего над камином.

Когда Рорк вошел в кабинет, очертания фигуры декана неясно плавали позади письменного стола, покрытого резьбой на манер столика в исповедальне. Декан был низеньким толстым джентльменом, чья полнота несколько сглаживалась непоколебимым чувством собственного достоинства.

— Ах да, Рорк! — Он улыбнулся. — Присаживайтесь, пожалуйста.

Рорк сел. Декан сплел пальцы на животе и замер в ожидании предполагаемой просьбы. Ее не последовало. Декан прочистил горло.

— Мне нет необходимости выражать сожаление в связи с неприятным событием, происшедшем сегодня утром, — начал он, — поскольку я считаю само собой разумеющимся, что вы всегда знали о моей искренней заинтересованности в вашем благополучии.

— Абсолютно никакой необходимости, — подтвердил Рорк.

Декан подозрительно посмотрел на него, но продолжил:

— Нет также необходимости упоминать, что я не голосовал против вас. Я воздержался. Но вам, вероятно, будет приятно знать, что на совете у нас была очень решительная группа защитников. Маленькая, но решительная. Профессор строительной техники выступал от вашего имени прямо как крестonosец. И ваш профессор математики тоже. Но, к сожалению, те, кто посчитал своим долгом проголосовать за ваше исключение, абсолютно превзошли остальных числом. Профессор Питеркин, ваш преподаватель композиции, решил дело. Он даже пригрозил подать в отставку, если вы не будете исключены. Вы должны понять, как сильно вы его спровоцировали.

— Я понимаю, — сказал Рорк.

— Понимаете, в этом-то все и дело. Я говорю о вашем отношении к занятиям по архитектурной композиции. Вы никогда не уделяли им должного внимания. Однако вы блистали во всех инженерных науках. Конечно, никто не станет отрицать важности технических аспектов строительства для будущего архитектора, но к чему впадать в крайности? Зачем пренебрегать артистической, творческой, так сказать, стороной вашей профессии и ограничиваться сухими техническими и математическими предметами? Ведь вы намеревались стать архитектором, а не инженером-строителем.

— Теперь все это, пожалуй, ни к чему, — согласился Рорк. — Все уже позади. Теперь нет смысла обсуждать, какие предметы я предпочитал.

— Я очень хочу вам помочь, Рорк. По справедливости, вы должны признать это. Вы не можете сказать, что вас не предупреждали до того, как это случилось.

— Предупреждали.

Декан задвигался в своем кресле, он почувствовал себя неуютно. Глаза Рорка вежливо смотрели прямо на него. Декан думал: «Нет ничего плохого в том, как он смотрит на меня, действительно, он абсолютно корректен, вежлив как подобает; только впечатление такое, будто меня здесь нет».

— Любая задача, которую перед вами ставили, — продолжал декан, — любой проект, который вы должны были разработать — что вы делали с ними? Каждый из них сделан в том — ну не могу назвать это стилем, — в той вашей неподражаемой манере, которая противоречит

всем основам, которым мы пытались вас научить, всем укоренившимся образцам и традициям искусства. Возможно, вы думаете, что вы, что называется, модернист, но это даже не модернизм. Это... это полное безумие, если вы не возражаете.

— Не возражаю.

— Когда вам задавали проекты, оставлявшие выбор стиля за вами, и вы сдавали одну из ваших диких штучек, ладно, будем откровенны, ваши учителя засчитывали вам это, потому что не знали, как это понимать. Но когда вам задавали упражнение в историческом стиле: спроектировать часовню в тюдоровском духе<sup>[3]</sup> или здание французской оперы, вы сдавали нечто напоминающее коробки, сваленные друг на друга без всякого смысла. Можете ли вы сказать — это было неправильное понимание задания или откровенное неповиновение?

— Неповиновение, — сказал Рорк.

— Мы хотели дать вам шанс — ввиду ваших блестящих достижений по всем другим предметам. Но когда вы сдали это, — декан со стуком уронил кулак на лист, развернутый перед ним, — такую ренессансную виллу в курсовом проекте — право, мой мальчик, это было уже слишком. — На листе был изображен дом из стекла и бетона. В углу стояла острая угловатая подпись: Говард Рорк. — Вы рассчитывали, что мы сможем зачесть вам это?

— Нет.

— Вы просто лишили нас выбора. Естественно, теперь вы ожесточены против нас, но...

— Ничего подобного я не чувствую, — спокойно сказал Рорк. — Я должен объясниться. Обычно я не позволяю себе подчиняться обстоятельствам. На этот раз я допустил ошибку. Я не должен был ждать, пока вы меня вышибете. Я должен был давным-давно уйти сам.

— Ну-ну, не раздражайтесь. Вы заняли неправильную позицию, особенно ввиду того, что я собираюсь вам сказать. — Декан улыбнулся и доверительно наклонился вперед, наслаждаясь увертюрой к доброму делу. — Вот истинная цель нашего разговора. Мне очень хотелось сообщить ее вам как можно быстрее, чтобы вы не чувствовали себя брошенным. О, я лично подвергал себя риску, сообщая об этом президенту, с его-то нравом, но... Имейте в виду, он не принял на себя никаких обязательств, но... Вот каково положение дел: теперь, когда вы понимаете, насколько это все серьезно, если вы подождете год, успокоитесь, все обдумаете, скажем, повзрослеете, у нас, возможно, появится шанс взять вас обратно. Имейте в виду, я ничего не обещаю — это исключительно неофициально, это против наших правил, но, принимая во внимание особые обстоятельства и ваши блестящие достижения, такая возможность не исключается.

— Думаю, что вы меня не поняли, — сказал Рорк. — Почему вы решили, что я хочу вернуться?

— Что такое?

— Я не вернусь. Кроме того, мне здесь больше нечему учиться.

— Я вас не понимаю, — надменно отчеканил декан.

— Что тут объяснять? Теперь это не имеет к вам никакого отношения.

— Будьте так любезны объяснить.

— Если желаете. Я хочу быть архитектором, а не археологом. Я не вижу смысла в реанимации ренессансных вилл. Зачем мне учиться проектировать их, если я никогда не буду их строить?

— Мой дорогой мальчик, великий стиль Возрождения отнюдь не мертв. Дома в этом стиле возводятся каждый день.

— Возводятся и будут возводиться, но только не мной.

— Бросьте, Рорк. Это же ребячество.

— Я пришел сюда учиться строительству. Когда передо мной ставили задачу, главным для

меня было научиться решать ее так, как в будущем я буду решать ее на деле, так, как буду строить. Я научился здесь всему, чему мог, занимаясь теми самыми строительными науками, которых вы не одобряете. Тратить же еще год на срисовывание итальянских открыток я не намерен.

Час назад декан желал, чтобы этот разговор проходил как можно спокойнее. Теперь ему хотелось, чтобы Рорк проявил хоть какие-нибудь чувства; ему казалось неестественным, что человек ведет себя совершенно непринужденно в подобных обстоятельствах.

— Вы хотите сказать, что всерьез думаете строить *таким образом*, когда станете архитектором — если, конечно, станете?

— Да.

— Мой дорогой друг, кто вам позволит?

— Это не главное. Главное — кто меня остановит?

— Послушайте, это серьезно. Мне жаль, что я не поговорил с вами подробно и основательно намного раньше... Знаю, знаю, знаю, не перебивайте меня, вы увидели одно-два модернистских здания и вообразили... Но понимаете ли вы, что весь так называемый модерн — преходящий каприз? Вы должны осознать и принять — и это подтверждено всеми авторитетами, — что все прекрасное в архитектуре уже сделано. Каждый стиль прошлого — неисчерпаемый клад. Мы можем только брать из великих стилей прошлого. Кто мы такие, чтобы поправлять или дополнять их? Мы можем лишь, преисполняясь почтения, пытаться их повторить.

— А зачем? — спросил Говард Рорк.

«Нет, — подумал декан, — нет, мне просто послышалось, он больше ничего не сказал; это совершенно невинное слово, и в нем нет никакой угрозы».

— Но это очевидно! — сказал декан.

— Смотрите, — спокойно сказал Рорк и указал на окно. — Вы видите кампус<sup>[4]</sup> и город? Видите, сколько людей ходит, живет там внизу? Так вот, мне наплевать, что кто-нибудь из них или все они думают об архитектуре и обо всем остальном тоже. Почему же я должен считаться с тем, что думали их дедушки?

— Это наши священные традиции.

— Почему?

— Ради всего святого, не будьте таким наивным!

— Но я не понимаю. Почему вы хотите, чтобы я считал *это* великим произведением архитектуры? — Он указал на изображение Парфенона.

— *Это*, — отрезал декан, — Парфенон.

— И что?

— Я не могу тратить время на столь глупые вопросы.

— Хорошо. Далее. — Рорк встал, взял со стола длинную линейку и подошел к картине. — Могу я сказать, что здесь ни к черту не годится?

— *Это Парфенон!* — повторил декан.

— Да, черт возьми, Парфенон! — Линейка ткнулась в стекло поверх картины. — Смотрите, — сказал Рорк. — Знаменитые капители<sup>[5]</sup> на не менее знаменитых колоннах — для чего они здесь? Для того чтобы скрыть места стыков в дереве — когда колонны делались из дерева, но здесь они не деревянные, а мраморные. Триглифы<sup>[6]</sup> — что это такое? *Дерево*. Деревянные балки, уложенные тем же способом, что и тогда, когда люди начинали строить деревянные хижины. Ваши греки взяли мрамор и сделали из него копии своих деревянных строений, потому что все так делали. Потом ваши мастера Возрождения пошли дальше и сделали гипсовые копии с мраморных копий колонн из дерева. Теперь пришли мы, делая копии из стекла и бетона с

гипсовых копий мраморных копий колонн из дерева. Зачем?

Декан сидел, глядя на него с любопытством. Что-то приводило его в недоумение — не слова, но что-то в манере Рорка произносить их.

— Традиции, правила? — говорил Рорк. — Вот мои правила: то, что можно делать с одним веществом, нельзя делать с другим. Нет двух одинаковых материалов. Нет на земле двух одинаковых мест, нет двух зданий, имеющих одно назначение. Назначение, место и материал определяют форму. Если в здании отсутствует главная идея, из которой рождаются все его детали, его ничем нельзя оправдать и, тем более, объявить творением. Здание живое, оно как человек. Его целостность в том, чтобы следовать собственной правде, собственной теме и служить собственной и единственной цели. Человек не берет займы свои члены, здание не заимствует части своей сущности. Его творец вкладывает в него душу, выражает ее каждой стеной, окном, лестницей.

— Но все подходящие формы выражения давно открыты.

— Выражения чего? Парфенон не служил тем же целям, что его деревянный предшественник. Аэропорт не служит той же цели, что Парфенон. Каждая форма имеет собственный смысл, а каждый человек сам находит для себя смысл, форму и назначение. Почему так важно что сделали остальные? Почему освящается простой факт подражательства? Почему прав кто угодно, только не ты сам? Почему истину заменяют мнением большинства? Почему истина стала фактом арифметики, точнее, только сложения? Почему все выворачивается и уродуется, лишь бы только соответствовать чему-то другому? Должна быть какая-то причина. Я не знаю и никогда не знал. Я бы хотел понять.

— Ради всего святого, — сказал декан, — сядьте... Так-то лучше... Не будете ли вы так любезны положить эту линейку?.. Спасибо... Теперь послушайте. Никто никогда не отрицал важности современной технологии в архитектуре. Но мы должны научиться прилагать красоту прошлого к нуждам настоящего. Голос прошлого — голос народа. Ничто и никогда в архитектуре не изобреталось одиночкой. Настоящее творчество — медленный, постепенный, анонимный и в высшей степени коллективный процесс, в котором каждый человек сотрудничает с остальными и подчиняется законам большинства.

— Понимаете, — спокойно сказал Рорк, — у меня впереди есть, скажем, шестьдесят лет жизни. Большая ее часть пройдет в работе. Я выбрал дело, которое хочу делать, и если не найду в нем радости для себя, то только приговорю себя к шестидесяти годам пытки. Работа принесет мне радость, только если я буду выполнять ее наилучшим из возможных для меня способов. Лучшее — это вопрос правил, и я выдвигаю собственные правила. Я ничего не унаследовал. За мной нет традиции. Возможно, я стою в ее начале.

— Сколько вам лет? — спросил декан.

— Двадцать два, — ответил Рорк.

— Вполне простительно, — сказал декан с заметным облегчением. — Вы это все перерастете. — Он улыбнулся: — старые нормы пережили тысячелетия, и никто не смог их улучшить. Кто такие ваши модернисты? Скоротечная мода, эксгибиционисты, пытающиеся привлечь к себе внимание. Вам не случалось наблюдать за их судьбами? Можете назвать хоть одного, кто достиг сколько-нибудь устойчивой известности? Посмотрите на Генри Камерона. Великий человек, двадцать лет назад он был ведущим архитектором. А что он сегодня? Счастлив, если получает — раз в год — заказ на перестройку гаража. Бездельник и пьяница, чье...

— Не будем обсуждать Генри Камерона.

— О? Он ваш друг?

— Нет, но я видел его здания.

— И вы находите их...

— Я повторяю, мы не будем обсуждать Генри Камерона.

— Очень хорошо. Вы должны понимать, что я проявляю большую... так сказать, терпимость. Я не привык беседовать со студентами в таком тоне. Как бы то ни было, я очень желаю предупредить, если возможно, назревающую трагедию — видеть, как молодой, явно способный человек сознательно калечит свою жизнь.

Декан задумался, почему, собственно, он обещал профессору математики сделать все возможное для этого парня. Просто потому, что профессор сказал: «Это великий человек» — и указал на проект Рорка.

«Великий, — подумал декан, — или опасный». Он поморщился — он не одобрял ни тех, ни других.

Он припомнил все, что знал о прошлом Рорка. Отец Рорка был сталелитейщиком где-то в Огайо и умер очень давно. В документах парня не имелось ни единой записи о ближайших родственниках. Когда его об этом спрашивали, Рорк безразлично отвечал: «Вряд ли у меня есть какие-нибудь родственники. Может быть, и есть. Я не знаю». Он казался очень удивленным предположением, что у него должен быть к этому какой-то интерес. Он не нашел, да и не искал в кампусе ни одного друга и отказался вступить в землячество. Он сам заработал деньги на учебу в школе и на три года института. С самого детства он работал на стройках простым рабочим. Штукатурил, слесарил, был водопроводчиком, брался за любую работу, которую мог получить, перебираясь с места на место, на восток, в большие города. Декан видел его прошлым летом в Бостоне во время каникул; Рорк ловил заклепки на строящемся небоскребе, его долговязое тело в замасленном комбинезоне не напрягалось, только глаза были внимательны, в правой руке — ведро, которым он время от времени, искусно, без напряжения выставляя руку вверх и вперед, ловил горячую заклепку как раз в тот момент, когда казалось, что она ударит его в лицо.

— Обратите внимание, Рорк, — мягко промолвил декан, — вы много работали, чтобы оплатить свое образование. Вам остался всего один год. Есть о чем поразмыслить, особенно парню в вашем положении. Вспомните о *практической* стороне профессии архитектора. Архитектор не существует сам по себе, он только маленькая часть большого социального целого. *Сотрудничество, кооперация* — вот ключевые слова современности и профессии архитектора в особенности. Вы думали о потенциальных клиентах?

— Да, — сказал Рорк.

— *Клиент*, — продолжал декан. — *Заказчик*. Думайте о нем в первую очередь. Это тот, кто будет жить в построенном вами доме. Ваша единственная задача — служить ему. Вы лишь должны стремиться придать подходящее художественное выражение желаниям заказчика. И это самое главное в нашем деле.

— Гм, я мог бы сказать, что должен стремиться построить для моего клиента самый роскошный, самый удобный, самый прекрасный дом, который только можно представить. Я мог бы сказать, что должен стараться продать ему лучшее, что имею, и, кроме того, научить его узнавать это лучшее. Я мог бы сказать это, но не скажу. Потому что я не намерен строить для того, чтобы кому-то служить или помогать. Я не намерен строить для того, чтобы иметь клиентов. Я намерен иметь клиентов для того, чтобы строить.

— Как вы предполагаете принудить их внять вашим идеям?

— Я не предполагаю никакого принуждения — ни для заказчиков, ни для самого себя. Те, кому я нужен, придут сами.

Декан понял, что поставило его в тупик в поведении Рорка.

— Знаете, — сказал он, — ваши слова звучали бы гораздо убедительнее, если бы вы не говорили так, будто вам безразлично, согласен я с вами или нет.

— Это верно, — сказал Рорк. — Мне безразлично, согласны вы или нет. — Он сказал это так просто, что слова его не прозвучали оскорбительно, — лишь как констатация факта, на который он сам впервые и с недоумением обратил внимание.

— Вам все равно, что думают остальные, это можно понять. Но, судя по всему, вы даже не стремитесь убедить их.

— Не стремлюсь.

— Но это... это чудовищно.

— Да? Возможно. Не знаю.

— Я доволен разговором, — медленно и нарочито громко проговорил декан. — Моя совесть спокойна. Я полагаю, и согласен в этом с постановлением собрания, что профессия архитектора не для вас. Я старался помочь вам. Теперь я согласен с советом: вы не тот человек, которому нужно помогать. Вы опасны.

— Для кого? — спросил Рорк.

Но декан поднялся, показывая, что разговор окончен.

Рорк покинул кабинет. Он медленно прошел через длинные коридоры, спустился по лестнице и оказался на лужайке внизу. Он знал много людей, похожих на декана; он никогда не мог понять их. Рорк смутно осознавал, что в чем-то они ведут себя принципиально иначе, чем он сам. Впрочем, сам вопрос отличия давным— Давно перестал его волновать. Но как при взгляде на здания он всегда стремился найти главную их тему, так и в общении с людьми он не мог избавиться от желания увидеть их главную побудительную силу — причину их поступков. Но его это не тревожило. Он никогда не умел думать о других людях; лишь иногда удивлялся, почему они такие, какие есть. Думая о декане, он тоже удивлялся. Тут, несомненно, была какая-то тайна. Некий принцип, который еще предстояло раскрыть.

Рорк остановился. Его взгляд захватили лучи солнца, замершего перед самым закатом, которые разукрасили фризы из серого известняка, бегущие вдоль кирпичной стены здания института. Он забыл о людях, о декане и принципах, которыми тот руководствовался и которые ему, Рорку, еще предстояло постичь. Он думал только о том, как чудесно смотрится камень в нестойком свете заката и что бы он сделал с этим камнем.

Он думал о большом листе бумаги и видел поднимающиеся на нем строгие стены из серого песчаника с длинными непрерывными рядами окон, раскрывающих аудитории сиянию неба. В углу листа стояла острая, угловатая подпись — *Говард Рорк*.



— Архитектура, друзья мои, — великое искусство, покоящееся на двух вселенских принципах: Красоты и Пользы. В более широком смысле эти принципы — часть трех вечных ценностей: Истины, Любви и Красоты. Истина — в отношении к традициям нашего искусства, Любовь — к нашим братьям, которым мы призваны служить, Красота — ах, Красота, неотразимая богиня всех художников, — является ли она в виде очаровательной женщины или здания... Хм... Да... В заключение я хотел бы сказать вам, начинающим свой путь в архитектуре, что теперь вы — хранители священного наследия... Хм... Да... Итак, отправляйтесь в мир, вооруженные вечными цен... вооруженные мечтой и отвагой, верные высочайшим стандартам, которыми всегда славилась ваша великая школа. Желаю вам всем честно служить, но не как рабы, прикованные к прошлому, и не как парвеню, проповедующие оригинальность ради нее самой; их поза — только невежественное тщеславие. Желаю вам многих лет, деятельных и богатых, и, прежде чем уйти из этого мира, оставить свой след на песке времени! — Гай Франкон вычурно завершил свою речь, выбросив вверх в стремительном салюте правую руку, — неофициально, в том броском хвастливом духе, который Гай Франкон мог себе позволить. Огромный зал перед ним ожил и разразился аплодисментами и криками одобрения.

Море лиц, молодых, энергичных и потных, торжественно прикованных — на сорок пять минут — к сцене, на которой распинался Гай Франкон, председательствовавший на выпускной церемонии в Стентонском технологическом институте. Гай Франкон, который по этому случаю собственной персоной прибыл из Нью-Йорка; Гай Франкон — глава знаменитой фирмы «Франкон и Хейер», вице-президент Американской гильдии архитекторов, член Американской академии искусств и литературы, член Национальной комиссии по изящным искусствам, секретарь Нью-йоркской лиги поощрения художеств, председатель Общества архитектурного просвещения США<sup>[7]</sup>. Гай Франкон, кавалер ордена Почетного Легиона, награжденный правительствами Великобритании, Бельгии, Монако и Сиам, Гай Франкон — лучший выпускник Стентона, спроектировавший известнейшее здание Национального банка Фринка в Нью-Йорке, на крыше которого на высоте двадцати пяти этажей светился раздуваемый ветром факел из стекла и огромных электрических ламп «Дженерал электрик», встроенный в слегка уменьшенную копию мавзолея Адриана<sup>[8]</sup>.

Гай Франкон спустился со сцены неторопливо, с полным осознанием важности своих движений. Он был среднего роста и не слишком грузен, но с досадной склонностью к полноте. Он знал, что никто не дал бы ему его пятидесяти одного года, на лице его не было ни морщин, ни складок; оно представляло собой приятное сочетание шаров, окружностей, арок и эллипсов, посреди которых хитрыми искорками сверкали глазки. Его одежда демонстрировала безграничное внимание к мелочам, свойственное художникам.

Спускаясь по ступеням, он жалел лишь о том, что это не школа совместного обучения.

Гай Франкон считал этот зал великолепным образцом архитектуры, только сегодня здесь было душновато из-за тесноты и пренебрежения вентиляцией. Зато он мог похвастаться зелеными мраморными панелями, коринфскими колоннами литого железа, расписанными золотом и украшенными гирляндами позолоченных плодов; Гай Франкон подумал, что особенно хорошо выдержали проверку временем ананасы. «Как трогательно, — подумал он, — ведь это я двадцать лет назад пристроил это крыло и продумал этот большой холл, и вот я здесь». Зал был так набит, что с первого взгляда невозможно было различить, какое лицо какому телу принадлежит. Все вместе напоминало подрагивающее заливное из рук, плеч, грудных клеток и

животов. Одна из голов, бледнолицая, темноволосая и прекрасная, принадлежала Питеру Китингу.

Он сидел в первом ряду, стараясь смотреть на сцену, потому что знал — сотни человек смотрят на него сейчас и будут смотреть позже. Он не оборачивался, но сознание того, что он в центре внимания, не покидало его. У него были карие, живые и умные глаза. Его рот — маленький, безупречной формы полумесяц — был мягко-благородным, теплым, словно всегда готовым расплыться в улыбке. Голова его отличалась классическим совершенством — и формы черепа, и черных волнистых локонов, обрамляющих впалые виски. Он держал голову как человек, привыкший не обращать внимания на свою красоту, но знающий, что у других подобной привычки нет. Он был Питером Китингом — звездой Стентона, президентом студенческой корпорации, капитаном лыжной команды, членом самого престижного землячества; большинством голосов он был назван самым популярным человеком в кампусе.

А ведь все собрались здесь, думал Питер Китинг, чтобы видеть, как мне будут вручать диплом; он попытался прикинуть, сколько человек вмещает зал. Все знали его блестящие оценки, и никому сегодня его рекорда не побить. Ах да, тут Шлинкер. Шлинкер был очень тяжелым соперником, но он все-таки побил Шлинкера в этом году. Он трудился как собака, потому что очень хотел побить Шлинкера. Сегодня у него нет соперников... Он вдруг почувствовал, как у него внутри что-то упало, из горла в живот, что-то холодное и пустое, зияющая пустота, свалившаяся вниз и оставившая ощущение падения, — не конкретную мысль, а неуловимый намек на вопрос,

действительно ли он так великолепен, как сегодня провозглашают. Он увидел в толпе Шлинкера. Он смотрел на его желтое лицо и очки в золотой оправе, смотрел пристально, с теплотой и облегчением, с благодарностью. Было ясно, что Шлинкер не мог даже надеяться сравняться с его собственной внешностью и способностями, у него не было никаких сомнений: он всегда будет бить Шлинкера и всех Шлинкеров мира, *он никому не позволит достичь того, чего сам достичь не сможет*. Все смотрят на него — и пусть смотрят. Он еще даст им хороший повод смотреть на него не отрываясь. Он чувствовал, как все взгляды вгрызаются в него с ожиданием и нетерпением, и это действовало на него тонизирующе. «Жизнь прекрасна», — думал Питер Китинг. У него немного закружилась голова. Это было приятное чувство, оно понесло его, безвольного и беспамятного, на сцену, на всеобщее обозрение. Вот оно выплеснуло его поверх голов — стройного, подтянутого, атлетически сложенного, полностью отдавшегося поглотившему его потоку. Он уловил в этом шуме, что выпущен с отличием, что Американская гильдия архитекторов вручает ему золотую медаль и что он награжден призом Общества архитектурного просвещения США — стипендией на четыре года обучения в парижской Школе изящных искусств<sup>[9]</sup>.

Потом он пожимал руки, кивал, улыбался, соскребал с лица пот концом пергаментного свитка, задыхаясь в своей черной мантии и надеясь, что другие не заметят, как его мать рыдает, закрыв лицо руками. Ректор пожал ему руку, прогудев:

— Стентон будет гордиться вами, мой мальчик.

Декан тряс его руку, повторяя:

— Славное будущее... Славное будущее... Славное будущее...

Профессор Питеркин пожал ему руку и потрепал по плечу, говоря:

— ...и вы признаете это совершенно необходимым; например, когда я строил почтамт в Пибоди<sup>[10]</sup>...

Дальше Китинг не слушал — он слышал историю почтамта в Пибоди много раз. Это было единственное из кому-либо известных сооружений, возведенное профессором Питеркином до того, как он принес свою практическую деятельность в жертву обязанностям преподавателя.

Блестящая работа — так было сказано о дипломном проекте Китинга — дворце изящных искусств. В этот момент Китинг ни за что бы не вспомнил, что это за дворец такой.

Сквозь все это в его глазах отпечатался облик Гая Франкона, пожимавшего ему руку, а в ушах переливался густой голос: «...как я сказал вам, она еще открыта, мой мальчик. Конечно, теперь у вас есть возможность продолжить обучение... Вы должны будете принять решение... Диплом Школы изящных искусств очень важен для молодого человека... Но я был бы доволен, увидев вас в нашем бюро».

Банкет выпуска двадцать второго года был долгим и торжественным. Китинг слушал речи с интересом; вокруг на все лады звучали бесконечные сентенции о «молодых людях — надежде американской архитектуры» и о «будущем, открывающем свои золотые ворота», и Питер знал, что «надежда» — это он и что «будущее» принадлежит ему; приятно было слышать подтверждение этому из стольких уважаемых уст. Он скользил взглядом по седовласым ораторам и думал о том, насколько моложе он будет, когда достигнет их положения, да и места повыше.

Потом он вдруг вспомнил о Говарде Рорке и удивился, обнаружив, что это имя, вспыхнув в его памяти, вызвало беспричинное удовольствие. Потом вспомнил: Говарда Рорка сегодня утром исключили из института. Питер молча упрекнул себя и принялся целеустремленно вызывать в себе чувство сожаления. Но скрытая радость возвращалась всякий раз, когда он думал об исключении Рорка. Это событие безоговорочно доказало, каким он был глупцом, воображая Рорка опасным соперником; одно время Рорк беспокоил его даже больше, чем Шлинкер, хотя и был двумя годами и одним курсом младше. Если он и питал какие-либо сомнения по поводу своей и их одаренности, разве сегодняшней день не расставил все по местам? Хотя, вспомнил Питер, Рорк был очень мил с ним, помогая ему всякий раз, когда он увязал в какой-нибудь проблеме... не увязал *на самом деле*, просто у него не хватало времени сидеть над всякой скукотищей — чертежами или чем-нибудь еще. Господи! Как Рорк умел распутывать чертежи, будто просто дергал за ниточку — и все понятно... И что с того, что умел? Что это ему дало? Теперь с ним кончено. И, убедив себя в этом, Питер Китинг с удовлетворением испытал наконец нечто вроде сострадания к Говарду Рорку.

Когда Китинга пригласили произнести речь, он уверенно поднялся с места. Он не имел права показать, что сильно испуган. Ему нечего было сказать об архитектуре, но он произносил слова, высоко подняв голову, как равный среди равных, но с некоей толикой почтительности, так, чтобы никто из присутствовавших знаменитостей не почел себя оскорбленным. Насколько он мог позднее вспомнить, он говорил: «Архитектура — великое искусство... С глазами, устремленными в будущее, и почтением к прошлому в сердцах... Из всех искусств — самое важное для народа... И, как сказал сегодня тот, кто стал для всех нас вдохновителем к творчеству, Истина, Любовь и Красота — три вечные ценности...»

Потом, в коридоре, в шумной неразберихе прощаний, какой-то парень шептал Китингу, обняв его за плечи:

— Давай домой, быстренько там разберись, Пит, а потом махнем в Бостон своей компанией; я заеду за тобой через часок.

Тед Шлинкер подбивал его:

— Конечно, пойдем, Пит, без тебя какое веселье. И кстати, прими поздравления и все прочее. Никаких обид. Пусть побеждает сильнейший.

Китинг обнял Шлинкера за плечи. В его глазах светилась такая сердечность, будто Шлинкер был его самым дорогим другом. В этот вечер он смотрел так на всех. Китинг сказал:

— Спасибо, Тед, старина. На самом деле я чувствую себя ужасно из-за этой медали гильдии архитекторов — я думаю, ее достоин только ты, но никогда нельзя сказать, что найдет на этих

маразматиков.

И теперь Китинг шел домой в теплом полумраке, думая лишь о том, как удрать от матери на ночь.

Мать, думал он, сделала для него очень много. Как сама часто повторяла, она была леди с полным средним образованием; тем не менее, она была вынуждена много работать и, более того, держать в доме пансион — случай беспрецедентный в ее семье.

Его отец владел писчебумажным магазином в Стентоне. Времена изменились и прикончили бизнес, а прободная язва прикончила Питера Китинга-старшего двадцать лет назад. Луиза Китинг осталась с домом, стоящим в конце респектабельной улицы, рентой от страховки за мужа — она не забывала аккуратно обновлять ее каждый год — и с сыном. Рента была более чем скромной, но с помощью пансиона и упорного стремления к цели миссис Китинг сводила концы с концами. Летом ей помогал сын, работая клерком в отеле или позируя для рекламы шляп. Ее сын, решила однажды миссис Китинг, займет достойное место в мире, и она вцепилась в эту мысль мягко и неумолимо, словно пиявка... Странно, вспомнил Китинг, одно время я хотел стать художником. Но мать выбрала иное поле деятельности для проявления его таланта. «Архитектура, — сказала она, — вот по-настоящему респектабельная профессия. Кроме того, ты встретишь самых известных людей». Он так и не понял, как и когда она подтолкнула его к этой профессии. Странно, думал Китинг, что он годами не вспоминал о своем юношеском стремлении. Странно, что теперь воспоминание причиняет ему боль. Ладно, этот вечер и предназначен для того, чтобы все вспомнить — и забыть навсегда.

Архитекторы, думал он, всегда делают блестящую карьеру. А терпели ли они когда-нибудь неудачи, взойдя на вершину? Он вдруг вспомнил Генри Камерона, который двадцать лет назад строил небоскребы, а сегодня превратился в старого пьяницу с конторой в какой-то трущобе. Китинг содрогнулся и пошел быстрее.

Он на ходу задумался, смотрят ли на него люди. Он начал следить за прямоугольниками освещенных окон; когда занавеска колыхалась и голова прислонялась к стеклу, он пытался угадать, не для того ли это, чтобы взглянуть, как он проходит; если и нет, то когда-нибудь так будет, когда-нибудь они все будут смотреть.

Говард Рорк сидел на ступенях крыльца, когда Китинг подошел к дому. Он сидел, отклонившись назад, опираясь локтями о ступени, вытянув длинные ноги. Вьюнок оплел колонны крыльца, словно отгораживая дом от света фонаря, стоящего на углу.

Тусклый шар электрического фонаря в ночном весеннем воздухе казался волшебным. От его тихого света улица становилась глуше и мягче. Фонарь висел одиноко, словно прореха во тьме, окутав темнотой все, кроме нескольких веток с густой листвой, застывших на самом ее краю — легкий намек, переходящий в уверенность, что в темноте нет ничего, кроме моря листьев. На фоне безучастного стеклянного шара фонаря листья казались более живыми; его свечение поглотило цвет листьев, пообещав вернуть при дневном свете краски в несколько раз ярче. Волшебный свет фонаря словно ладошками закрывал глаза, оставляя взамен необъяснимое ощущение — не запах, не прохладу, а все вместе: ощущение весны и безграничного пространства.

Китинг остановился, различив в темноте нелепо рыжие волосы. Это был единственный человек, которого он хотел увидеть сегодня вечером. Он обрадовался и немного испугался, застав Рорка в одиночестве.

— Поздравляю, Питер, — сказал Рорк.

— А... А, спасибо... — Китинг был удивлен, обнаружив, что испытывает большее удовольствие, чем от других поздравлений, полученных в этот день. Он несмело обрадовался поздравлению Рорка и назвал себя за это глупцом. — Кстати... Ты знаешь или... — Он добавил

осторожно: — Мама сказала тебе?

— Сказала.

— Она не должна была!

— Почему?

— Слушай, Говард, ты знаешь, что я ужасно сожалею о твоём...

Рорк откинул голову назад и посмотрел на него.

— Брось, — сказал Рорк.

— Я... Есть кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить, Говард, попросить твоего совета. Не возражаешь, если я сяду?

— О чем?

Китинг сел на ступени. В присутствии Рорка он никогда не мог играть какую-либо роль, а сегодня просто не хотел. Он услышал шелест листа, падающего на землю; это был тонкий, прозрачный весенний звук.

Он осознал в этот момент, что привязался к Рорку, и в этой привязанности засели боль, изумление и беспомощность.

— Ты не будешь думать, — сказал Китинг мягко, с полной искренностью, — что это ужасно с моей стороны — спрашивать тебя о своих делах, в то время как тебя только что?..

— Я сказал, брось. Так в чем дело?

— Знаешь, — сказал Китинг с неожиданной для самого себя искренностью, — я часто думал, что ты сумасшедший. Но я знаю, что ты много знаешь о ней... об архитектуре, я имею в виду, знаешь то, чего эти глупцы никогда не знали. И я знаю, что ты любишь свое дело, как они никогда не полюбят.

— Ну?

— Ну, я не знаю, почему должен был прийти к тебе, но... Говард, я никогда раньше этого не говорил... Видишь ли, для меня твое мнение важнее мнения декана — я, возможно, последую деканскому, но просто твое мне ближе. Я не знаю почему. И я не знаю, зачем говорю это.

Рорк повернулся к нему, посмотрел и рассмеялся. Это был молодой и дружеский смех, который так редко можно было слышать от Рорка, и Китингу показалось, будто кто-то доверительно взял его за руку; он забыл, что его ждут развлечения в Бостоне.

— Валяй, — сказал Рорк, — ты же не боишься меня, так ведь? О чем ты хотел спросить?

— О моей стипендии на учебу в Париже. Я получил приз Общества архитектурного просвещения.

— Да?

— На четыре года. Но, с другой стороны, Гай Франкон недавно предложил мне работать у него... Сегодня он сказал, что предложение все еще в силе. И я не знаю, что выбрать.

Рорк смотрел на него, его пальцы выбивали на ступеньке медленный ритм.

— Если хочешь моего совета, Питер, — сказал он наконец, — то ты уже сделал ошибку. Спрашивая меня. Спрашивая любого. Никогда никого не спрашивай. Тем более о своей работе. Разве ты сам не знаешь, чего хочешь? Как можно жить, не зная этого?

— Видишь ли, поэтому я и восхищаюсь тобой, Гъвард; ты всегда знаешь.

— Давай без комплиментов.

— Но я именно это имел в виду. Как получается, что ты всегда можешь принять решение сам?

— Как получается, что ты позволяешь другим решать за тебя?

— Но видишь ли, я не уверен, Говард, я никогда в себе не уверен. Я не знаю, действительно ли я так хорош, как обо мне говорят. Я бы не признался в этом никому, кроме тебя. Думаю, это потому, что ты всегда так уверен в себе, я...

— Питти! — раздался сзади громкий голос миссис Китинг. — Питти, милый! Что вы там делаете? — Она стояла в дверях в своем лучшем платье из бордовой тафты, счастливая и злая. — Я сижу здесь одна-одинешенька, жду тебя! Что же ты сидишь па этих грязных ступенях во фраке? Вставай немедленно! Давайте в дом, мальчики. Горячий шоколад и печенье готовы.

— Но, мама, я хотел поговорить с Говардом о важном деле, — сказал Китинг, но встал.

Казалось, она не услышала его слов. Она вошла в дом. Китинг последовал за ней.

Рорк посмотрел ему вслед, пожал плечами, встал и вошел тоже.

Миссис Китинг устроилась в кресле, деликатно хрустнув накрахмаленной юбкой.

— Ну? — спросила она. — О чем вы там секретничали? Китинг потрогал пепельницу, подобрал спичечный коробок и

бросил его, затем, не обращая на мать внимания, повернулся к Рорку.

— Слушай, Говард, оставь свою позу, — сказал он, повысив голос. — Плюнуть мне на стипендию и идти работать или ухватиться за Школу изящных искусств, чтобы поразить наших провинциалов, а Франкон пусть ждет? Как ты думаешь?

Но что-то ушло. Неуловимо изменилось. Момент был упущен.

— Теперь, Питти, позволь мне... — начала миссис Китинг.

— Ах, мама, подожди минуту!.. Говард, я должен все тщательно взвесить. Не каждый может получить такую стипендию. Если тебя так оценивают, значит, ты того заслуживаешь. Курс в парижской Школе — ты ведь знаешь, как это важно?

— Не знаю, — сказал Рорк.

— О черт, я знаю твои безумные идеи, но я говорю практически, с точки зрения человека в моем положении. Забудем на время об идеалах, речь идет о...

— Ты не хочешь моего совета, — сказал Рорк.

— Еще как хочу! Я же спрашиваю тебя!

Но Китинг никогда не мог быть самим собой при свидетелях, любых свидетелях. Что-то ушло. Он не знал, что именно, но ему показалось, что Рорк знает. Глаза Говарда заставляли его чувствовать себя неудобно, и это его злило.

— Я хочу *заниматься* архитектурой, — набросился на Рорка Китинг, — а не говорить о ней. Старая Школа дает престиж. Ставит выше рядовых экс-водопроводчиков, которые думают, что могут строить. А с другой стороны — место у Франкона, причем предложенное лично Гаем Франконом!

Рорк отвернулся.

— Многие ли сравниваются со мной? — без оглядки продолжал Китинг. — Через год они будут хвастать, что работают на Смита или Джонса, если вообще найдут работу. В то время как я буду у Франкона и Хейера!

— Ты совершенно прав, Питер, — сказала миссис Китинг поднимаясь, — что в подобном вопросе не хочешь советоваться со своей матерью. Это слишком важно. Я оставлю вас с мистером Рорком — решайте вдвоем.

Он посмотрел на мать. Он не хотел слышать ее мнение по этому поводу; он знал, что единственная возможность решить самому —

это принять решение до того, как она выскажется. Она остановилась, глядя на него, готовая повернуться и покинуть комнату; он знал, что это не поза, — она уйдет, если он пожелает. Он хотел, чтобы она ушла, хотел отчаянно и сказал:

— Это несправедливо, мама, как ты можешь так говорить? Конечно, я хочу знать твое мнение. Как... Что *ты* думаешь?

Она проигнорировала явное раздражение в его голосе и улыбнулась:

— Питти, я никогда ничего не думаю. Только тебе решать, и всегда было так.

— Ладно... — нерешительно начал он, искоса наблюдая за ней. — Если я отправлюсь в Париж...

— Прекрасно, — сказала миссис Китинг. — Поезжай в Париж. Это отличное место. За целый океан от твоего дома. Конечно, если ты уедешь, мистер Франкон возьмет кого-то другого. Люди будут говорить об этом. Все знают, что мистер Франкон каждый год выбирает лучшего парня из Стентона для своей фирмы. Хотела бы я знать, что скажут люди, если кто-то другой получит это место? Но я полагаю, что это не важно.

— Что... Что скажут люди?

— Ничего особенного, я полагаю, только то, что другой был лучшим в вашем выпуске. Я полагаю, он возьмет Шлинкера.

— Нет! — Он задохнулся в ярости. — Только не Шлинкера!

— Да, — ласково сказала она. — Шлинкера.

— Но...

— Но почему тебя должно беспокоить, что скажут люди? Ведь главное — угодить самому себе.

— И ты думаешь, что Франкон...

— Почему я должна думать о мистере Франконе? Это имя для меня ничего не значит.

— Мама, ты хочешь, чтобы я работал у Франкона?

— Я ничего не хочу, Питти. Ты — хозяин. Тебе решать.

У Китинга мелькнула мысль, действительно ли он любит свою мать. Но она была его матерью, а по всеобщему убеждению, этот факт автоматически означал, что он ее любит; и все чувства, которые он к ней испытывал, он привык считать любовью. Он не знал, почему обязан считаться с ее мнением. Она была его матерью, и предполагалось, что это заменяет все «почему».

— Да, конечно, мама... Но... Да, я знаю, но... Говард? — Это была мольба о помощи.

Рорк полулежал в углу на софе, развалившись, как котенок. Это часто изумляло Китинга — он видел Рорка то движущимся с беззвучной собранностью и точностью кота, то по-кошачьи расслабленным, обмякшим, как будто в его теле не было ни единой кости. Рорк взглянул на него и сказал:

— Питер, ты знаешь мое отношение к каждому из этих вариантов. Выбирай меньшее из зол. Чему ты научишься в Школе изящных искусств? Только строить ренессансные палаццо и опереточные декорации. Они убьют все, на что ты способен сам. Иногда, когда тебе разрешают, у тебя получается очень неплохо. Если ты действительно хочешь учиться — иди работать. Франкон — ублюдок и дурак, но ты будешь строить. Это подготовит тебя к самостоятельной работе намного быстрее.

— Даже мистер Рорк иногда говорит разумные вещи, — сказала миссис Китинг, — хоть и выражается, как водитель грузовика.

— Ты действительно думаешь, что у меня получается неплохо? — Китинг смотрел на него так, будто в его глазах застыло отражение этой фразы, а все прочее значения не имело.

— Время от времени, — сказал Рорк, — не часто.

— Теперь, когда все решено... — начала миссис Китинг.

— Я... Мне нужно это обдумать, мама.

— Теперь, когда все решено, как насчет горячего шоколада? Я подам его сию минуту. — Она улыбнулась сыну невинной улыбкой, говорящей о ее благодарности и послушании, и прошелестела прочь из комнаты.

Китинг нервно зашагал по комнате, закурил, отрывисто выплевывая клубы дыма, а потом посмотрел на Рорка:

— Что ты теперь собираешься делать, Говард?

— Я?

— Я понимаю, очень некрасиво, что я все о себе да о себе. Мама хочет как лучше, но она сводит меня с ума... Ладно, к черту... Так что ты намерен делать?

— Поеду в Нью-Йорк.

— О, замечательно. Искать работу?

— Искать работу.

— В... в архитектуре?

— В архитектуре, Питер.

— Это прекрасно. Я рад. Есть какие-нибудь определенные планы?

— Я собираюсь работать у Генри Камерона.

— О нет, Говард!

Рорк молча и не спеша улыбнулся. Уголки его рта заострились: — Да.

— Но он ничтожество, он больше никто! О, я знаю, у него все еще есть имя, но он вышел в тираж! Он никогда не получает крупных заказов, несколько лет не имел вообще никаких! Говорят, его контора просто дыра. Какое будущее ждет тебя у него? Чему ты научишься?

— Не многому. Только строить.

— Ради Бога, нельзя же так жить, умышленно губить себя! Мне казалось... Ну да, мне казалось, что ты сегодня кое-что понял!

— Понял.

— Слушай, Говард, если это потому, что тебе представляется, что теперь больше никто тебя не возьмет, никто лучше Камерона, то я помогу тебе, за чем же дело стало? Я буду работать у старика Франкона, завяжу знакомства и...

— Спасибо, Питер, но в этом нет необходимости. Это решено.

— Что он сказал?

— Кто?

— Камерон.

— Я с ним еще не встречался.

Снаружи раздался гудок автомобиля. Китинг опомнился, побежал переодеваться, столкнулся в дверях с матерью, сбив чашку с нагруженного подноса.

— Питти!

— Ничего, мама! — Он схватил ее за локти. — Я спешу, милая. Маленькая вечеринка с ребятами. Нет-нет, не говори ничего, я не задержусь, и — слушай! — мы отпразднуем мое поступление к Франкону и Хейеру!

Он порывисто, с избытком веселья, время от времени делавшим его совершенно неотразимым, поцеловал ее и, вылетев из комнаты, побежал наверх. Миссис Китинг с упреком и удовольствием взволнованно покачала головой.

В своей комнате, разбрасывая одежду во всех направлениях, Китинг вдруг подумал о телеграмме, которую он отправит в Нью-Йорк. Он весь день не вспоминал об этой трепетной теме, но мысль о телеграмме пришла к нему с ощущением того, что это надо сделать

срочно; он хотел отправить эту телеграмму сейчас, немедленно. Он неразборчиво нацарапал на клочке бумаги:

«Кэти любимая еду Нью-Йорк работа Франкона люблю всегда Питер».

Этой ночью Китинг мчался по направлению к Бостону, зажатый между двумя парнями, ветер и дорога со свистом проносились мимо. И он думал, что мир сейчас открывается для него подобно темноте, разбегающейся перед качающимися вверх-вниз лучами фар. Он свободен. Он готов. В ближайшие годы — очень скоро, ведь в быстром беге автомобиля времени не



существовало — его имя прозвучит, как сигнал горна, вырывая людей из сна. Он готов творить великие вещи, изумительные вещи, вещи, непревзойденные в... в... о черт... в архитектуре.

Питер Китинг рассматривал улицы Нью-Йорка. Прохожие, как он заметил, были чрезвычайно хорошо одеты.

На секунду он остановился перед домом на Пятой авеню, где его ожидал первый день службы в фирме «Франкон и Хейер». Он посмотрел на спешащих мимо прохожих. «Чертовски шикарно», — подумал он и с сожалением скользнул взглядом по собственному наряду. Еще многому предстояло выучиться в Нью-Йорке.

Когда тянуть время стало более невозможно, он повернулся к входу, являвшему собой миниатюрный дорический портик, каждый дюйм которого в уменьшенном размере точно воспроизводил пропорции, канонизированные творцами, носившими развевающиеся греческие туники. Меж мраморного совершенства колонн сверкала армированным стеклом, отражая блеск пронесившихся мимо автомобилей, вращающаяся дверь. Китинг вошел в эту дверь и через глянцево-мраморный вестибюль прошел к лифту, сиявшему позолотой и красным лаком. Миновав тридцать этажей, лифт доставил его к дверям красного дерева, на которых он увидел изящную бронзовую табличку с не менее изящными буквами: «Франкон и Хейер, архитекторы».

Приемная бюро Франкона и Хейера, архитекторов, походила на уютную и прохладную бальную залу в особняке колониального стиля. Серебристо-белые стены опоясывали плоские пилястры с каннелюрами. Пилястры увенчивались ионическими завитками и поддерживали небольшие фронтоны. В центре каждого фронтона имелась вертикальная ниша, в которой прямо из стены вырастал горельеф греческой амфоры. Стенные панели были украшены офортами с изображениями греческих храмов, небольших, а потому малоизвестных, но при этом демонстрировавших безошибочный набор колонн, портиков, трещин в камне.

Стоило Китингу переступить порог, как у него возникло совершенно неуместное ощущение, будто он стоит на ленте конвейера. Сначала лента принесла его к секретарше, сидевшей возле коммутатора за белой балюстрадой флорентийского балкона. Далее он был перемещен к порогу громадной чертежной, где увидел череду длинных плоских столов, целый лес толстых гнутых проводов, свисавших с потолка и оканчивавшихся лампами в зеленых абажурах, гигантские папки с синьками, высоченные желтые стеллажи, груды бумаг, образцы кирпичей, баночки с клеем и календари, выпущенные разными строительными компаниями и изображающие преимущественно полуобнаженных женщин. Старший чертежник тут же набросился на Китинга, даже толком не взглянув на него. Чувствовалось, что ему здесь все осточертело, но при этом работа настолько захватывала его, что он был прямо-таки переполнен энергией. Ткнув пальцем в направлении раздевалки, он повел подбородком, указуя на дверцу одного из шкафчиков. Потом, пока Китинг неуверенными движениями облачался в жемчужно-серый халат, старший чертежник стоял, покачиваясь с пятки на носок. Такие халаты здесь, по требованию Франкона, носили все. Далее лента конвейера остановилась у стола в углу чертежной, где перед Китингом оказалась стопка эскизов, которые требовалось перечертить в развернутом виде. Тощая спина старшего чертежника уплыла вдаль, причем по одному ее виду можно было безошибочно определить, что ее обладатель начисто забыл о существовании Китинга.

Китинг немедленно склонился над своим заданием, сосредоточив взор и напрягши мышцы шеи. Кроме перламутрового отлива лежащей перед ним бумаги, он ничего не видел и только удивлялся четким линиям, выводимым его рукой, ведь он несколько не сомневался, что она, эта рука, вода по бумаге, дрожит самым предательским образом. Он срисовывал линии, не ведая, куда они ведут и с какой целью. Он знал лишь одно: перед ним чье-то

гениальное творение, и он, Китинг, не вправе ни судить о нем, ни тешить себя надеждой

когда-либо сравняться с его автором. Сейчас ему было непонятно, с какой стати он вообще возомнил себя потенциальным архитектором.

Лишь много позже он заметил за соседним столом морщины на сером халате, из-под которого торчали чьи-то лопатки. Он беглым взглядом окинул чертежную — поначалу с осторожностью, затем с любопытством, с удовольствием и, наконец, с презрением. Достигнув этой последней стадии, Питер Китинг вновь стал самим собой и вновь возлюбил человечество. Он подмечал то щеки землистого цвета, то смешной нос. То бородавку на срезанном подбородке, то брюхо, сплющенное о край стола. Эти картины нравились ему чрезвычайно. Да ему ли не справиться с тем, с чем справляются вот эти? Он улыбнулся. Нет, без собратьев-человеков Питеру Китингу не прожить.

Вновь взглянув на лежащие перед ним эскизы, он моментально заметил вопиющие огрехи в этом шедевре. Эскиз изображал один этаж частной резиденции, и Питер обратил внимание на кривые коридоры, бессмысленно съедающие громадные объемы, вытянутые прямоугольные колбасы комнат, обреченных на вечный полумрак. «Господи, — подумал он, — да меня за такое вышибли бы еще в первом семестре!» После чего работа пошла быстро, споро, уверенно. Он был счастлив.

До обеденного перерыва Китинг уже завел дружбу в чертежной — нет, не с конкретными людьми; он, так сказать, подготовил почву для произрастания грядущих побегов дружбы. Он постоянно улыбался соседям и понимающе подмигивал без особых на то причин. Отходя к фонтанчику с питьевой водой, он всякий раз не забывал окинуть тех, мимо кого проходил, ласковым и веселым взором сияющих глаз, которые, казалось, выхватывают каждого по очереди из чертежной, из вселенной, и непременно в качестве наиболее значительного представителя человечества — и ближайшего друга Питера Китинга. «Вот идет он, — словно шелестело ему вслед, — умница и чертовски хороший парень».

Китинг заметил, что высокий юноша за соседним столом работает над фасадом административного здания. С видом дружеского уважения Питер склонился над плечом соседа и посмотрел на переплетение лавровых гирлянд над колоннами с каннелюрами на высоте третьего этажа.

— А что, неплохо старик придумал, — с восторгом произнес Китинг.

— Кто-кто? — спросил юноша.

— Да Франкон же, — сказал Китинг.

— Черта с два Франкон, — безмятежно процедил юноша. — Он за восемь лет и собачьей конуры не спроектировал. — Он махнул большим пальцем через плечо, на стеклянную дверь за их спинами. — Это он придумал.

— Кто? — оборачиваясь, спросил Китинг.

— Он, — повторил юноша. — Штенгель. Он все это делает. За стеклянной дверью Китинг увидел возвышающиеся над

кульманом тощие плечи, напряженно склонившуюся треугольную головку и два круглых пятна света в оправе очков.

Ближе к вечеру, словно призрак просочился через закрытую дверь, и по шуршанию шепотков вокруг Китинг узнал, что Гай Франкон явился и проследовал в свой кабинет на верхнем этаже. Спустя полчаса открылась стеклянная дверь и вышел Штенгель, держа двумя пальцами большой лист ватмана.

— Эй, вы, — сказал он, наведя очки на лицо Китинга. — Вы готовите эскизы для вот этого? — Он махнул ватманом. — Снесите-ка это боссу на одобрение. Выслушайте, что он скажет, и постарайтесь при этом сделать умный вид. Впрочем, ни то ни другое ни малейшего значения не имеет.

Штенгель был невысок, и руки его, казалось, доставали до щиколоток. Они болтались в широких рукавах, как толстые веревки, заканчиваясь крупными, сноровистыми ладонями. Взгляд Китинга застыл, потемнел. Десятую долю секунды он пристально смотрел в бесстрастные кругляшки очков. Затем улыбнулся и приятным голосом произнес:

— Да, сэр.

Он понес ватман, держа его кончиками всех десяти пальцев, вверх по лестнице, устланной пушистым малиновым ковром, в кабинет Гая Франкона.

На листе был акварелью изображен в перспективе вид серого гранитного особняка с тремя рядами слуховых окон, пятью балконами, четырьмя эркерами, двенадцатью колоннами, одним флагштоком и двумя львами у входа. В углу аккуратнейшими печатными буквами было написано: «Резиденция мистера и миссис Джеймс С. Уоттлз. Франкон и Хейер, архитекторы».

Китинг тихо присвистнул. Джеймс С. Уоттлз — мультимиллионер, фабрикант лосьонов для бритья.

Кабинет Гая Франкона блистал полировкой. «Нет, — поправил себя Китинг. — Не полировкой, а лаком. А еще точнее, здесь каждый предмет полит толстым слоем расплавленных золоченых зеркал». Он увидел, как порхают, подобно рою бабочек, осколки его собственного отражения, следуя за ним, присаживаясь на чиппендейлские бюро<sup>[11]</sup>, на кресла в стиле эпохи Стюартов<sup>[12]</sup>, на каминную полку под Людовика Пятнадцатого<sup>[13]</sup>. Питер успел заметить в углу подлинную древнеримскую статую, подкрашенные сепией фотографии Парфенона, Реймского собора<sup>[14]</sup>, Версаля<sup>[15]</sup> и Национального банка Фринка с его негаснущим факелом.

Он увидел, как от боковой поверхности тумбы массивного стола красного дерева к нему приближаются его собственные ноги. За столом восседал Гай Франкон. Лицо у Франкона было желтое, щеки отвисли. Он посмотрел на Китинга так, словно впервые его видел, но тут же вспомнил и широко улыбнулся:

— Так-так-так, Киттридж, мальчик мой, ты уже здесь — устроился, освоился! Очень рад тебя видеть. Присаживайся, юноша, присаживайся. Что там у тебя? Спешить нам некуда, решительно некуда. Садись. Как тебе здесь нравится?

— Боюсь, сэр, что я слишком счастлив, — сказал Китинг с выражением откровенной мальчишеской беспомощности. — Мне казалось, что я сразу возьму быка за рога на своем первом рабочем месте, но начинать здесь... наверное, это немного выбило меня из колеи... Но я с этим справлюсь, сэр, — пообещал он.

— Конечно, — сказал Гай Франкон. — На молодого человека наше бюро вполне может произвести очень сильное впечатление. Но не слишком. Не переживай. Я уверен, у тебя дела пойдут хорошо.

— Я приложу все усилия, сэр.

— Разумеется, приложишь. Что это они мне прислали? — Он протянул руку к рисунку, но его обессилевшие пальцы закончили движение на лбу. — Какая обуза эта головная боль... Нет-нет, ничего серьезного... — Он улыбнулся, увидев, как Китинг мгновенно придал лицу выражение озабоченности. — Просто немного *mal de tête*<sup>[16]</sup>. Так много работы!

— Могу ли я что-нибудь принести вам, сэр?

— Нет-нет, благодарю. Принести ничего не надо. А вот если бы ты мог кое-что забрать у меня... — Он подмигнул. — Шампанское. *Entre vous*<sup>[17]</sup>, вчера нас потчевали очень дрянным шампанским. Я вообще не слишком люблю шампанское. Да будет тебе известно, Киттридж, разбираться в винах чрезвычайно важно. Например, угощаешь клиента ужином — и непременно надо знать, что именно заказывать. А теперь я выдам тебе одну профессиональную тайну. Возьмем, к примеру, перепелов. Так вот, большинство людей закажут к ним бургундское. А что

надо заказывать? Прикажи подать «Кло Вуажо» урожая девятьсот четвертого года. Понял? Это придаст особый оттенок. Вполне корректно и к тому же оригинально. А нужно всегда быть оригинальным... Кстати, кто тебя послал?

— Мистер Штенгель, сэр.

— А-а, Штенгель. — Интонация, с которой Франкон произнес эту фамилию, отчетливо впечаталась в сознание Китинга; это надо запомнить, чтобы использовать при удобном случае. — Слишком мы, понимаете ли, горды, чтобы самим принести свои поделки... Имей в виду, он великий проектировщик, лучший в Нью-Йорке. Просто в последнее время слишком много о себе возомнил. Думает, что он единственный во всем бюро по-настоящему работает, и все только потому, что я даю ему идеи и позволяю их за меня разрабатывать. И еще потому, что он весь день корпит за доской. Мальчик мой, когда ты поработаешь подольше, то поймешь, что настоящая работа в бюро делается вне его стен. Возьмем, к примеру, вчерашний вечер. Банкет, устроенный «Клэрион», ассоциацией по торговле недвижимостью. Две сотни гостей, ужин с шампанским — ох уж это шампанское! — Он брезгливо сморщил нос, иронизируя над самим собой. — Несколько слов, сказанных в неформальной обстановке в небольшом спиче после ужина. Понимаешь, никакой лобовой атаки, никаких вульгарных «налетайте-покупайте». Всего лишь несколько хорошо подобранных соображений об ответственности специалистов по недвижимости перед обществом, о важности подбора таких архитекторов, которые были бы компетентны, уважаемы, имели прочную репутацию... Несколько, понимаешь, броских формулировок, чтобы хорошенько в мозгах отпечатались.

— Да, сэр, что-то вроде: «Выбирай строителя для своего дома так же внимательно, как выбираешь жену, которая будет в нем жить».

— Неплохо, Киттридж, совсем неплохо. Не против, если я это запишу?

— Моя фамилия Китинг, сэр, — твердо сказал Китинг. — Я буду только рад, если вы воспользуетесь этой идеей. И счастлив, что она вам понравилась.

— Ну конечно же, Китинг! Разумеется, Китинг, — сказал Франкон с обезоруживающей улыбкой. — Видит Бог, со столькими людьми имеешь дело... Так как ты сказал? «Выбирай строителя»... Очень хорошо сказано.

Он попросил Китинга повторить всю фразу и записал ее в блокнот, достав один из разложенных перед ним шеренгой новых разноцветных карандашей, профессионально отточенных, готовых к употреблению и почти никогда не касавшихся ватмана.

Затем он отложил блокнот, вздохнул, пригладил волнистую шевелюру и устало сказал:

— Ну ладно. Мне, пожалуй, придется взглянуть на эту штуку. Китинг уважительно протянул рисунок. Франкон отклонился

назад, держа ватман на расстоянии вытянутой руки, и стал внимательно его рассматривать. Он прикрыл левый глаз, потом правый, потом отвел лист еще на дюйм. Китингу почему-то показалось, что Франкон сейчас перевернет рисунок вверх ногами. Но тот просто держал его, и тут Китинг понял, что Франкон давно уже толком не смотрит на рисунок, а лишь делает вид, ради него, Китинга. И в этот момент Китингу сделалось легко-легко, и он четко и ясно увидел дорогу к своему счастливому будущему.

— М-да... — говорил между тем Франкон, потирая подбородок кончиками мягких пальцев. — М-да... — Он посмотрел на Китинга: — Неплохо. Совсем неплохо... Да... может, чуточку, понимаешь, изысканности не хватает, а вообще... нарисовано аккуратно... Ты как считаешь, Китинг?

Китинг подумал, что четыре окна упираются прямо в массивные гранитные колонны. Но, взглянув на пальцы Франкона, поигрывающие темно-лиловым галстуком, решил от комментариев воздержаться. Вместо этого он сказал:

— Если позволите высказать предложение, сэр, мне кажется, что картуши<sup>[18]</sup> между четвертым и пятым этажами скромноваты для столь импозантного здания. По-моему, здесь был бы хорош фриз с орнаментом.

— Вот, точно. Я как раз собирался сказать то же самое. Фриз с орнаментом... Только... слушай, тогда ведь придется сменить расположение окон и уменьшить их, так?

— Да, — сказал Китинг, придавая тону некоторую почтительность, которую он часто использовал в спорах с сокурсниками. — Но окна не так важны по сравнению с благородством фасада.

— Вот именно. С благородством. Прежде всего мы должны давать нашим клиентам благородство. Да, конечно же, фриз с орнаментом... Только... Слушай, я ведь уже одобрил предварительные эскизы, а Штенгель все тут так красиво разрисовал...

— Мистер Штенгель будет только рад внести те изменения, которые порекомендуете вы.

Франкон секунду смотрел Китингу прямо в глаза. Затем ресницы его опустились, и он смахнул с рукава пылинку.

— Разумеется, разумеется, — как-то неопределенно сказал он. — Но... ты считаешь, что фриз действительно так важен?

— Я считаю, — медленно проговорил Китинг, — что куда важнее внести те изменения, которые вы считаете *нужными*, чем безоговорочно одобрять каждый эскиз лишь потому, что его аккуратно выполнил мистер Штенгель.

Поскольку Франкон ничего не сказал, а лишь посмотрел на него и поскольку взгляд его был пристальным, а пальцы замерли, Китинг понял, что пошел на невероятный риск и... победил. Он испугался своего смелого шага, но уже тогда, когда убедился в победе.

Они молча посмотрели друг на друга через стол, и оба увидели, что способны прекрасно понимать друг друга.

— У нас будет фриз с орнаментом, — спокойно и весомо сказал Франкон. — Оставь ватман здесь. Передай Штенгелю, что я хочу его видеть.

Китинг повернулся, собираясь выйти. Франкон остановил его. Голос его был весел и дружелюбен.

— Да, кстати, Китинг, позволь один совет. Строго между нами, ты только не обижайся, но к серому халату лучше подойдет бордовый галстук, а не синий. Как по-твоему?

— Да, сэр, — непринужденно ответил Китинг. — Благодарю вас. Завтра же увидите на мне бордовый галстук.

Он вышел и тихо прикрыл дверь.

На обратном пути, проходя через вестибюль, Китинг увидел респектабельного седовласого джентльмена. Тот придерживал дверь, пропуская впереди себя даму. Джентльмен был без шляпы и явно работал здесь. На даме было норковое манто, и она явно относилась к числу клиентов.

Джентльмен не кланялся до земли, не расстилал ковер под ее ногами, не махал над ее головой опахалом. Китингу просто показалось, что джентльмен все это проделывает.

Здание Национального банка Фринка заметно возвышается над Нижним Манхэттеном<sup>[19]</sup>, и его длинная тень двигалась по мере перемещения солнца, подобно громадной часовой стрелке, поверх закопченных доходных домов, от «Аквариума» до Манхэттенского моста<sup>[20]</sup>. Когда солнце скрывалось, ему на смену вспыхивал факел в мавзолее Адриана, яркими красными пятнами отражаясь в окнах домов на многие мили вокруг. По банку Фринка можно было изучать всю историю римского искусства, представленную со вкусом подобранными образцами. Долгое время дом этот считался лучшим зданием Нью-Йорка, поскольку ни одно другое строение не могло похвастать таким элементом классической архитектуры, которое не было бы

представлено в облике Национального банка. На всеобщее обозрение было выставлено столько колонн, фронтонов<sup>[21]</sup>, фриз, треножников, атлантов, ваз и волют<sup>[22]</sup>, что казалось, будто дом не сложен из белого мрамора, а испечен из бисквитного теста и облеплен кремом руками искусных кондитеров. Однако дом был выстроен из настоящего белого мрамора. Никто не знал этого, кроме владельцев, которые за мрамор заплатили. Сейчас дом стоял весь в пятнах и потеках и приобрел мерзкий цвет — ни коричневый, ни зеленый, а как бы вобравший в себя самые неприятные оттенки того и другого. Это был цвет гнили и плесени, цвет дыма, выхлопных газов, кислот, разьевших нежный камень, более уместный в чистом воздухе пригородов. При всем том здание Национального банка Фринка пользовалось большим успехом. Этот успех был настолько велик, что Гай Франкон после этого не спроектировал ни одного строения, ибо слава создателя здания Фринка избавила его от обременительных занятий подобного рода.

В трех кварталах к востоку стояло здание Дэйна. Оно было на несколько этажей ниже и совершенно непрестижно. Линии его были скупы и просты. Они не скрывали, а даже подчеркивали гармонию стального каркаса — так в красивом теле видна соразмерность костяка. Никаких других украшений не предлагалось. Ничего, кроме идеально выверенных углов, плоскостей, длинных гирлянд окон, сбегавших с крыши на мостовую подобно потокам льда. Жители Нью-Йорка редко обращали взоры на здание Дэйна. Лишь изредка случайный гость из других мест неожиданно набредал на него в лунном сиянии, останавливался и удивлялся, из какого сна явилось это дивное творение. Но такие гости были крайне редки. Обитатели здания Дэйна говорили, что не променяют его ни на какой другой. Им нравилось обилие света и воздуха, четкая логичность планировки холлов и кабинетов. Но и обитателей было немного — ни один уважающий себя бизнесмен не желал размещать свою фирму в доме, «похожем на какой-то склад».

Архитектором здания Дэйна был Генри Камерон.

В восьмидесятые годы прошлого века нью-йоркские архитекторы ожесточенно бились за право занять второе место в своей профессии. На первое никто даже не претендовал: на первом месте был Генри Камерон. В те годы заполучить Генри Камерона было очень нелегко. В очередь к нему записывались на два года вперед. Он лично проектировал каждое здание, выходящее из его мастерской. Он сам выбирал, что строить. Когда он строил, клиент помалкивал. От всех он требовал только одного — неукоснительного послушания, хотя сам в жизни никого не слушался. Сквозь годы своей славы он промчался как снаряд, выпущенный в неведомую цель. Его называли ненормальным. Но при этом брали все, что он давал, независимо от того, понимали что-нибудь или нет. Ведь дома созидал «сам Генри Камерон».

Поначалу его здания лишь незначительно отличались от прочих, не настолько, чтобы кого-то отпугнуть. Изредка он проводил эксперименты, удивлявшие всех, но от него этого ждали, и с Генри Камероном никто не спорил. С каждым новым зданием в архитекторе что-то вызревало, наливалось, оформлялось, накапливая критическую массу для взрыва. Взрыв произошел с появлением небоскреба. Когда дома устремились ввысь не громоздкими каменными этажами, а невесомыми стальными стрелами, Генри Камерон одним из первых понял это новое чудо и начал придавать ему форму. Одним из первых и немногих он осознал истину, что высокий дом должен и выглядеть высоким. Когда архитекторы, проклиная все на свете, изо всех сил старались, чтобы двадцатиэтажный дом выглядел как старинный кирпичный особняк, когда

использовали любую из имеющихся горизонтальных конструкций, лишь бы дом казался пониже, поближе к традиции, лишь бы замаскировать позорный стальной каркас, выставить свое творение маленьким, привычным, старинным, Генри Камерон возводил небоскребы прямыми вертикальными линиями, щеголявшими сталью и высотой. Пока архитекторы вырисовывали фризы и фронтоны, Генри Камерон решил, что небоскребу не пристало

копировать Древнюю Грецию. Генри Камерон решил, что ни одно здание не должно быть похоже на другое.

Тогда ему, крепкому неопрятному коротышке, было тридцать девять лет. Он работал как проклятый, недосыпал, недоедал, пил редко, но до озверения, называл своих клиентов непечатными словами, смеялся над ненавидевшими его и сознательно раздувал эту ненависть, вел себя как помещик-феодал, как портовый грузчик и жил в страшном напряжении, которое передавалось всем оказавшимся с ним в одной комнате. Этот огонь ни он, ни другие не могли переносить слишком долго. Так было в 1892 году.

А в 1893 году в Чикаго прошла Всеамериканская выставка.

На берегах озера Мичиган вырос Рим двухтысячелетней давности, Рим, дополненный кусками Франции, Испании, Афин и всех последующих архитектурных стилей. Это был город мечты, состоявший из колонн, триумфальных арок, голубых лагун, хрустальных фонтанов и хрустящей кукурузы. Архитекторы состязались, кто искуснее украдет, кто воспользуется самым древним источником или наибольшим числом источников одновременно. Здесь перед глазами молодой страны развернулась картина всех преступлений из области архитектуры, когда-либо совершенных в более древних странах. Это был белый город, белый, как чумной балахон, и появившаяся здесь зараза распространялась со скоростью чумы.

Люди приходили, смотрели, дивились — и увозили с собой во все города Америки впечатления от увиденного. Из этих семян вырос буйный сорняк — почты с черепичными крышами и дорическими портиками, кирпичные особняки с чугунными фронтонами, высотки из двадцати Парфенонов, поставленных друг на дружку. Сорняки разрастались и душили все остальное.

Генри Камерон отказался работать на Всеамериканскую выставку, он ругал ее всеми непечатными словами, допустимыми однако к воспроизведению, — но только не в обществе дам. Его слова незамедлительно воспроизводились наряду с рассказами о том,

как он бросил чернильницу в лицо известнейшему банкиру, когда тот попросил его спроектировать железнодорожный вокзал в форме храма Артемиды Эфесской. Банкир больше к Камерону не обращался. И не он один.

Едва лишь замаячила вдали цель, к которой Камерон шел долгие и трудные годы, едва лишь истина, которую он искал, стала приобретать осязаемые формы, как перед ним опустился последний шлагбаум. В молодой стране, наблюдавшей за его безумной карьерой, удивлявшейся и восхищавшейся, начал было прививаться вкус к величию его творений. Но в стране, отброшенной на два тысячелетия назад в безудержном приступе классицизма, ему не было места, такой стране не было до него дела.

Теперь стало вовсе не обязательно проектировать дома, достаточно было их сфотографировать. Архитектор с наилучшей библиотекой признавался наилучшим архитектором. Подражатели подражали подражаниям. И все это благословлялось от имени Культуры с большой буквы; из руин поднялись двадцать веков; торжествовала великая Выставка; а в каждом семейном альбоме появились европейские цветные открытки на любой вкус.

Этому Генри Камерон ничего противопоставить не мог. Ничего, кроме веры, которой он держался только потому, что сам ее основал. Ему некого было цитировать и нечего сказать. Он всего лишь говорил, что форма здания должна отвечать его назначению; что конструкция здания — это ключ к его красоте; что новые методы строительства требуют новых форм; что он хочет строить так, как ему вздумается, и только по этой причине. Но как могли люди прислушаться к нему, когда они обсуждали Витрувия<sup>[23]</sup>, Микеланджело<sup>[24]</sup> и сэра Кристофера Рена<sup>[25]</sup>?

Люди ненавидят страсть, особенно страсть великую. Генри Камерон совершил ошибку — он страстно полюбил свою работу. Поэтому и сопротивлялся. Поэтому и проиграл.



Все говорили, что он так и не понял, что проиграл. А если и понял, то никому не дал это почувствовать. Чем реже появлялись заказчики, тем высокомернее он с ними держался. Чем меньшим становился престиж его имени, тем заносчивее звучал его голос, это имя произносивший. У него был очень толковый менеджер, маленький, тихий и скромный человек с железным характером, который в дни славы Камерона спокойно выдерживал бурные истерики архитектора и приводил ему клиентов. Камерон оскорблял их и выставлял вон, но маленький человек добивался того, что заказчики, забыв об оскорблениях, возвращались. Этот человек умер.

Камерон никогда не умел обращаться с людьми. Они для него не имели ни малейшего значения, как не имела значения и сама жизнь, и вообще все, не считая зданий. Он так и не научился объяснять, а только приказывал. Его никто не любил. Его боялись. А теперь и бояться перестали.

Его оставили в живых. Он жил и проклинал улицы города, который когда-то так мечтал перестроить. Он жил, сидя за столом в своей пустой конторе, неподвижно, в праздном ожидании. Он жил и однажды прочел в газетной статье, написанной с самыми благими намерениями, упоминание о «покойном Генри Камероне». Он жил и начал пить — пить одиноко, тихо, страшно, дни и ночи напролет. Он жил и слышал, как те, кто довел его до такой жизни, говорили, когда его имя упоминалось в связи с возможным заказом: «Камерон? Я бы не советовал. Он пьет как сапожник. Поэтому и сидит без заказов». Он жил, перебираясь из бюро, занимавшего три этажа в очень престижном офисном центре, в другое, занимающее один этаж в здании куда менее известном; оттуда — в гостиничный номер ближе к окраине; потом в три комнаты с видом на вентиляционную шахту. Он остановил свой выбор на этих комнатах в самом труппном районе лишь потому, что, прижавшись щекой к оконному стеклу, мог видеть поверх кирпичной стены кусочек здания Дэйна.

Говард Рорк тоже смотрел на здание Дэйна, пока стоял под окнами, пока поднимался, останавливаясь на каждой площадке, на шестой этаж, в кабинет Генри Камерона, — лифт не работал. Давным— Давно лестницу покрасили грязновато-зеленой краской. Ее осталось совсем немного. Она скрипела под подошвами и разъезжалась неровными кусками. Рорк преодолевал лестничные пролеты быстро, будто ему было назначено время, держа под мышкой папку с эскизами и не сводя глаз со здания Дэйна. Один раз он столкнулся с человеком, который спускался вниз. За последние два дня такое с ним случалось нередко. Он ходил по улицам города, высоко подняв голову и не замечая ничего, кроме домов Нью-Йорка.

В темной клетушке — приемной Камерона — стоял стол с телефоном и пишущей машинкой. За столом сидел тощий, как скелет, седой мужчина без пиджака, демонстрируя дряблые подтяжки. Он сосредоточенно печатал какие-то технические данные двумя пальцами, но с невероятной скоростью. Свет от тусклой лампочки желтым пятном расплылся у него по спине, там, где мокрая рубашка прилипла к лопаткам.

Когда Рорк вошел, мужчина медленно поднял голову. Он посмотрел на Рорка, ничего не сказал, лишь выжидательно впился в него усталыми, старыми, нелюбопытными глазами.

— Я хотел бы повидать мистера Камерона, — сказал Рорк.

— Да ну? — ответил мужчина. В голосе его не было ни вызова, ни угрозы, вообще какого-либо выражения. — И зачем?

— По поводу работы.

— Какой работы?

— Чертежником.

Мужчина тупо посмотрел на него. Давненько не доводилось принимать посетителей, пришедших с подобной просьбой. Наконец он поднялся, не говоря ни слова, прошаркал к двери,

находившейся у него за спиной, и вошел в нее.

Он оставил дверь приоткрытой, и Рорку был слышен его протяжный говорок:

— Мистер Камерон, там какой-то парень. Говорит, на работу к вам пришел устраиваться.

Сильный и внятный голос, в котором не было и намек на старость, отозвался:

— Что еще за идиот? Вышвырни его вон... Погоди! Давай его сюда!

Пожилой мужчина вернулся и, придерживая дверь, молча тряхнул головой в ее направлении. Рорк вошел. Дверь за ним закрылась.

В дальнем конце длинной и пустой комнаты за столом сидел Генри Камерон, наклонившись, упираясь локтями в стол, сложив ладони замком. Борода и волосы его были черны, как уголь, и кое-где перемежались с жесткими седыми прядями. На короткой толстой шее, как канаты, проступали мышцы. На нем была белая рубашка, рукава которой были закатаны выше локтя, открывая мощные, тяжелые загорелые руки. Кожа на широком лице загрубела, как дубленая. Темные глаза смотрели живо и молодо.

Рорк застыл на пороге. Они посмотрели друг на друга через длинную комнату.

Кабинет, выходящий на вентиляционную шахту, был погружен в серый полумрак. Пыль на чертежной доске, на немногочисленных зеленых папках походила на некие мохнатые сталагмиты, порожденные этим скудным освещением. Но на стене, между окнами, Рорк увидел рисунок. Это был единственный рисунок в комнате, и изображал он небоскреб, который так и не был построен.

Быстро окинув взглядом комнату, Рорк остановил внимание на рисунке. Пройдя через кабинет, он остановился перед ним и стал его внимательно рассматривать. Камерон следил за ним тяжелым взглядом, напоминая длинную иглу, один конец которой, крепко удерживаемый Камероном, медленно описывал в воздухе полукруг, а другой, острый, пронзил тело Рорка и намертво засел в нем. Камерон смотрел на рыжие волосы, на руку, висящую вдоль тела. Ладонью рука была обращена к рисунку, пальцы чуть согнуты, замерев даже не в жесте, а в некоей прелюдии жеста, выражающего намерение что-то попросить или забрать.

— Ну и? — наконец спросил Камерон. — Ко мне пришел или картинку разглядывать?

Рорк повернулся к нему:

— И то и другое.

Он подошел к столу. В присутствии Рорка люди всегда вдруг начинали сомневаться в реальности собственного существования; но Камерон внезапно почувствовал, что никогда еще он не был так реален, как сейчас, отражаясь в смотрящих на него глазах.

— Чего тебе надо? — грубо спросил он.

— Я хотел бы работать у вас, — спокойно отвечал Рорк. В интонации отчетливо слышалось: «Я буду работать у вас».

— Так прямо и будешь? — сказал Камерон, не сознавая, что отвечает на произнесенную фразу. — А что случилось? Публика почище и получше не желает тебя взять?

— Я ни к кому другому не обращался.

— Почему же? Уж не думаешь ли ты, что здесь новичку устроиться проще всего? Думаешь, сюда запросто принимают первых встречных? Да знаешь ли ты, кто я такой?

— Знаю. Поэтому и пришел.

— Кто тебя прислал?

— Никто.

— Тогда какого черта ты выбрал именно меня?

— Я думаю, что это вам известно.

— И у тебя хватило наглости вообразить, что я захочу взять тебя? Видно, решил, что я на такой мели, что готов распахнуть ворота перед першим попавшимся щенком, который

соблаговолит оказать мне такую честь? Небось подумал: «Старик Камерон совсем опустился, пьет...» Подумал же, признавайся!.. «Старый пьяница и неудачник, который не будет слишком разборчив!» Так? Отвечай же! Отвечай, черт тебя дери! Чего вылупился? Так? Давай— Давай, ври, что не так!

— В этом нет никакой надобности.

— Раньше где работал?

— Только начинаю.

— Чем занимался?

— Три года учился в Стентоне.

— О-о! Значит, лень закончить помешала?

— Меня исключили.

— Замечательно! — Камерон хлопнул по столу кулаком и расхохотался. — Великолепно! Значит, для этого питомника вшей в Стентоне ты не годишься, а для работы у Генри Камерона — в самый раз?! Решил, что здесь у меня самое место для отбросов? За что тебя вышибли? Пьянка? Бабы? Что?

— Это, — сказал Рорк и протянул свои чертежи.

Камерон посмотрел на верхний, потом на следующий, потом просмотрел всю папку до самого дна. Рорк слышал лишь шуршание бумаги, а Камерон молча переворачивал лист за листом. Потом архитектор поднял голову:

— Садись.

Рорк подчинился. Камерон пристально смотрел на него, барабаня толстыми пальцами по кипе эскизов.

— Значит, по-твоему, они хороши? — спросил Камерон. — Так вот, они ужасны. Неописуемо, преступно ужасны. Смотри. — Он ткнул чертеж прямо в лицо Рорку. — Посмотри сюда. Какая тут у тебя основная мысль? Какого черта ты этот план сюда вставил? Просто хотел, чтобы вышло красивенько, раз уж надо было как-то свести в одно? Кем ты себя возомнил? Гаем Франконом, не приведи Господь?.. А на этот проект посмотри, недоучка! Такая идея, а ты даже не знаешь, что с ней делать! Обязательно надо было загубить такую прекрасную идею?! Да знаешь ли, сколько тебе еще надо учиться?

— Знаю. Потому и пришел.

— А на это взгляни! Мне б такое придумать в твоём возрасте! И непременно надо было испохабить? Знаешь, что бы я с этим сделал? Вот, смотри, к черту твои лестницы, к черту котельную! Когда закладываешь фундамент...

Говорил он страстно и долго, непрерывно ругался, не мог найти ни одного эскиза, которым остался бы доволен. Но Рорк заметил, что говорит он так, будто по этим проектам уже идет строительство.

Камерон резко остановился, оттолкнул от себя папку с эскизами и положил на нее кулак. Он спросил:

— Когда ты решил стать архитектором?

— В десять лет.

— Врешь. В таком возрасте никто толком не знает, чего хочет.

— Не вру.

— Не смотри на меня так! Не можешь, что ли, в другую сторону смотреть? Почему решил стать архитектором?

— Тогда я не знал. Но теперь знаю: потому что не верю в Бога.

— Брось! Говори по делу!

— Потому что люблю эту землю. И больше ничего так не люблю. Мне не нравится форма

предметов на этой земле. Я хочу эту форму изменить.

— Для кого?

— Для себя.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать два.

— Когда и от кого ты все это услышал?

— Никогда. Ни от кого.

— В двадцать два года так не говорят. Ты ненормальный.

— Скорее всего.

— Это не комплимент.

— Я понял.

— Семья есть?

— Нет.

— Работал, когда учился?

— Да.

— Где?

— На стройке.

— Денег сколько осталось?

— Семнадцать долларов тридцать центов.

— Когда в Нью-Йорк приехал?

— Вчера.

Камерон посмотрел на белую стопку листов, прижатую его кулаком.

— Черт тебя возьми! — тихо сказал Камерон и вдруг взревел, подавшись вперед: — Черт тебя возьми! Я тебя приходить сюда не просил! Не нужен мне чертежник! Здесь нечего чертить! Нет у меня работы! Мне с моими служащими приходится ходить на Бауэри благотворительным супчиком кормиться<sup>[26]</sup>! Не нужны мне дураки-идеалисты, которые будут тут с голоду помирать! Не желаю брать на себя ответственность. И без того тошно. Никогда не думал, что еще увижу такое. Для меня все это в прошлом. В далеком прошлом. Меня вполне устраивают кретины и бездари, которые у меня сейчас служат, у которых никогда ничего не было и никогда не будет и которым все равно, что из них выйдет. Больше мне ничего не надо. Зачем ты сюда явился? Решил сам себя угробить, так? И чтоб я тебе в этом помог? Видеть тебя не хочу! Ты мне не нравишься. Лицо твое мне не нравится. У тебя вид законченного эгоиста. Ты наглый. Ты слишком самоуверенный. Лет двадцать назад я бы тебе с превеликим удовольствием морду начистил. Завтра явишься в девять ноль-ноль.

— Да, — сказал Рорк, поднимаясь.

— Пятнадцать долларов в неделю. Больше платить не могу.

— Да.

— Ты идиот. Пошел бы к кому-нибудь другому. Если передумаешь и пойдешь к другому, я тебя придушу. Как тебя зовут?

— Говард Рорк.

— Опоздаешь — уволю.

— Да.

Рорк протянул руку за рисунками

— Здесь оставь! — рявкнул Камерон. — Мотай отсюда!

— Тухи, — сказал Гай Франкон. — Эллсворт Тухи. Очень мило с его стороны, как ты считаешь, Питер? Прочти-ка вслух.

Франкон весело перегнулся через стол и вручил Китингу августовский номер «Новых рубежей». На белой обложке журнала стояла черная эмблема, на которой соединились палитра, лира, молот, отвертка и восходящее солнце. Журнал выходил тиражом в тридцать

тысяч, и его сторонники именовали себя интеллектуальным авангардом страны. Никому и в голову не пришло бы подвергнуть сомнению это утверждение. Китинг вслух зачитал отрывок из статьи под названием «Мрамор и цемент», вышедшей из-под пера Эллсворта Тухи:

«...а теперь мы перейдем к другому выдающемуся достижению из области местного градостроительства. Мы призываем всех, кто обладает изысканным вкусом, обратить внимание на новый дом Мелтона, созданный в бюро Франкона и Хейера. Он возвышается в своем белом величии, словно красноречивый свидетель триумфа классической чистоты и здравого смысла. Уроки бессмертной традиции послужили связующим фактором при возведении здания, красота которого способна просто и ясно дойти до сердца самого что ни на есть человека с улицы. В нем нет ни уродливого стремления выставить себя напоказ, ни извращенной жажды оригинальности, ни упоения безудержным эгоизмом. Гай Франкон, его создатель, знает, как подчинить себя непререкаемым канонам, нерушимость которых доказали многие поколения мастеров. В то же время он умеет проявить собственную творческую оригинальность, но не вопреки, а как раз благодаря классическим догматам, которые он принял со смирением, подобающим истинному художнику. Возможно, здесь следует вкратце упомянуть, что следование канонам есть непреложное условие для проявления истинного новаторства...

Однако куда более важным является символическое значение появления подобного здания в нашем великом городе. Стоя перед его южным фасадом, невозможно не испытать потрясения, осознав, что орнаментальные фризы, повторяющиеся с намеренным и изящным постоянством с третьего этажа по восемнадцатый, эти длинные, прямые горизонтальные линии, воплощают в себе принцип сдерживания и выравнивания. Это линии всеобщего равенства. Кажется, будто они низводят величественное строение до скромного роста зрителя. Это линии самой земли, линии народа, линии великих человеческих масс. Они словно говорят нам, что никто не вправе слишком высоко подниматься над уровнем среднего человека, что все, даже это величественное строение, удерживается и смиряется узами человеческого братства...»

И это было не все. Китинг дочитал статью до конца и поднял голову.

— Вот это да, — восторженно произнес он.

Франкон счастливо улыбнулся:

— Неплохо, да? И не от кого-нибудь, а от самого Тухи! Пока еще немногие знают эту фамилию, но узнают, помани мое слово, узнают. Все признаки налицо... Значит, он не считает, что я так уж плох? А ведь язык у него как жало, когда он того пожелает. Слышал бы ты, что он обычно говорит про других. Ты видел этот хлев — последнее творение Даркина? Так вот, я был на приеме, где Тухи сказал... — Франкон не смог сдержать смеха. — Он сказал: «Если мистер Даркин имеет несчастье считать себя архитектором, кто-то обязан поведать ему, сколь великолепные возможности открывает нынешняя нехватка квалифицированных сантехников». Он именно так и сказал, представь себе, публично!

— Интересно, — сказал Китинг, — что он скажет обо мне, когда наступит время?

— Только не пойму, что он имел в виду, говоря о каком-то символическом значении и об узах человеческого братства... Ну, в общем, если он нас за такое хвалит, надо бы призадуматься.

— Дело критика, мистер Франкон, — разъяснить художника, в том числе и самому художнику. Мистер Тухи просто выразил словами то скрытое значение, которое вы подсознательно вложили в свое творение.

— Ах вот как, — с неопределенной интонацией произнес Франкон и тут же бодро добавил: — Ты так думаешь? Возможно... Да, вполне возможно... Ты умный мальчик, Питер.

— Благодарю вас, мистер Франкон. — Китинг приготовился встать.

— Постой. Посиди еще. Выкурим еще по одной, а уж потом погрузимся в тягомотину будней.

Перечитывая статью, Франкон улыбался. Китинг никогда не видел его таким довольным. Ни один проект, выполненный в бюро, ни одна завершенная стройка не радовали его так, как эти слова другого человека, напечатанные в журнале, где каждый мог их прочесть.

Китинг непринужденно сидел в удобном кресле. Месяц, отработанный им в фирме, был проведен с большой пользой. Он ничего не говорил и ничего не предпринимал, но по бюро распространилось мнение, что Гаю Франкону нравится общество этого юноши. Ни дня не проходило без приятной паузы в работе, когда Китинг сидел по другую сторону стола Франкона, уважительно, но с ощущением растущей дружеской близости, выслушивая жалобы босса на нехватку в его окружении людей, способных его понимать.

От своих коллег-чертежников Китинг узнал о Франконе все, что только мог узнать. Что Гай Франкон умерен в еде, но предпочитает изысканные блюда и с гордостью называет себя гурманом; что он с отличием закончил парижскую Школу изящных искусств; что он женился на больших деньгах, но брак оказался неудачным; что носки он надевает строго под цвет носовых платков и никогда — под цвет галстуков; что он предпочитает создавать дома в сером граните; что в Коннектикуте у него есть собственная каменоломня серого гранита, дела которой находятся в самом блестящем состоянии; что он содержит роскошную холостяцкую квартиру в стиле Людовика Пятнадцатого; что жена его, из благородной старой фамилии, умерла, оставив все состояние единственной дочери; и что дочь, которой сейчас девятнадцать, учится в колледже за пределами штата Нью-Йорк.

Два последних факта особенно заинтересовали Китинга. В разговоре с Франконом он исподволь, как бы между прочим, затронул тему дочери. «Да... — с заметным напряжением выговорил Франкон. — Да, конечно». Китинг прекратил все дальнейшие исследования этого вопроса — временно. По лицу Франкона было ясно видно, что мысли о дочери ему крайне неприятны. Отчего — Китинг узнать не смог.

Познакомился Китинг и с Лусиусом Н. Хейером, партнером Франкона. От его внимания не ускользнуло, что Хейер появился в бюро всего два раза за три недели, но он так и не узнал, чем же все-таки занимается Хейер в фирме. Гемофилии у Хейера не было, но выглядел он по-настоящему анемичным — увядший аристократ с длинной тощей шеей, бесцветными глазами навывкате, крайне вежливый и как будто чем-то постоянно напуганный. Он был последним представителем древнего рода, и высказывалось подозрение, что Франкон заманил Хейера в партнеры ради его связей в высшем обществе. Все очень жалели беднягу Лусиуса, восторгались его смелой попыткой заняться делом, да еще каким, и считали, что будет очень мило заказать постройку дома именно ему. Эти дома строил Франкон, и от Лусиуса никаких дальнейших услуг не требовалось. Такое положение дел устраивало всех.

Все чертежники были без ума от Питера Китинга. Он сумел внушить всем такое ощущение, будто он давным-давно работает здесь. Ему всегда удавалось везде становиться как бы незаменимым, куда бы он ни попадал. Он появлялся негромко и весело и, как губка, легко впитывал дух и настроение любого нового коллектива. Дружеская улыбка, веселый голос, легкое пожатие плеч — все, казалось, свидетельствовало, что душу его ничто не тяготит, что он не из

тех, кто будет кого-то обвинять, чего-то требовать, чем-то возмущаться.

Сейчас он сидел и смотрел, как Франкон читает статью. Тот оторвался от чтения, посмотрел на молодого человека и увидел глаза, смотрящие на него с невероятным почтением, и две презрительные точки в углах рта, словно две еще неозвученные смешинки. Франкон почувствовал себя несказанно уютно. Ощущение уюта проистекало именно из подмеченного им презрения. Как раз сочетание почтения и этой едва заметной иронической улыбки на губах подчиненного и создавало между ними идеальные отношения, вознося Франкона на должную высоту и не требуя с его стороны никаких усилий. Слепое восхищение было опасно; заслуженное восхищение налагало определенную ответственность. А вот восхищение заведомо незаслуженное было драгоценным даром.

— Питер, когда будешь выходить, передай это мисс Джефферс, пусть вклеит в мой альбомчик.

Спускаясь по лестнице, Китинг подбросил журнал высоко в воздух и ловко поймал его, беззвучно насвистывая.

В чертежной он застал Тима Дейвиса, лучшего своего друга, который понуро стоял над эскизом с видом полного отчаяния. Тим Дейвис — тот самый высокий юный блондин, который работал за соседним столом и которого Китинг давно уже приметил, поскольку совершенно определенно знал, хоть и не имел ощутимых доказательств, что из всех чертежников Тим пользуется самым большим расположением начальства, а в таких делах Китинг не ошибался никогда. Как только выдавалась такая возможность, Китинг старался получить задание поработать над деталями того проекта, которым занимался Дейвис. Вскоре они уже вместе ходили обедать, а после работы вместе забегали в тихий кабачок, где Китинг, затаив дыхание, слушал рассказы Дейвиса о его любви к некоей Элен Даффи. Через пару часов Китинг не мог вспомнить ни слова из этих рассказов.

Сейчас он увидел Дейвиса в состоянии мрачной подавленности. Тот остервенело жевал сигарету и кончик карандаша одновременно. Китингу не было надобности задавать вопросы. Он просто наклонился и дружески заглянул Дейвису через плечо. Тот выплюнул сигарету и взорвался — оказалось, что сегодня его оставили работать сверхурочно, третий раз за неделю!

— Опять сидеть здесь черт знает сколько! Надо позарез, видишь ли, закончить эту хреновину, и обязательно сегодня! — Он с силой ударил по листам, разложенным перед ним. — Да ты только посмотри! Тут и до утра не закончить! Что же мне делать?

— Тим, это все потому, что ты здесь лучше всех и без тебя не обойтись.

— Да пошло оно все к черту! У меня же сегодня свидание с Элен! Что же, прикажете не являться?! Третий раз! Она мне просто не поверит! В последний раз она мне так и сказала. Все! Иду к великому Гаю и расскажу ему, куда он может засунуть свои проекты и свое чертово бюро! С меня довольно!

— Подожди, — сказал Китинг и придвинулся поближе к Тиму. — Есть и другой способ. Я их закончу вместо тебя.

— Что?

— Я останусь и все сделаю. Не беспокойся. Никто ничего не заметит.

— Пит! Честное слово?

— А как же? Все равно мне сегодня делать нечего. А ты потусуйся здесь, пока все не разойдутся, а потом смывайся.

— Да ты что, Пит! — Дейвис вздохнул. Предложение было соблазнительно. — Только, понимаешь, если кто узнает, меня выгонят. Ты же еще новичок для такой работы.

— Никто же не узнает.

— Мне нельзя потерять работу, Пит. Ты же знаешь. Мы с Элен должны скоро пожениться.

И если что случится...

— Ничего не случится.

В начале седьмого Дейвис потихоньку вышел из чертежной, оставив на своем месте Китинга. Склонившись под одинокой зеленой лампой, Питер окинул взглядом безлюдные просторы чертежной. После дневного шума было непривычно тихо, и у Китинга возникло чувство, что все здесь, все три длинные смежные комнаты принадлежат ему одному. Это ощущение не пропадало. Карандаш в его руках двигался быстро и уверенно.

В половине десятого он закончил работу, аккуратно сложил чертежи на стол Дейвиса и вышел из бюро. Он шел по улице, испытывая приятное чувство, как после хорошего обеда. Но сделав несколько шагов, он внезапно и остро ощутил собственное одиночество. Сегодня ему было просто необходимо с кем-нибудь это одиночество разделить. Но у него никого не было. Впервые ему захотелось, чтобы мать оказалась в Нью-Йорке, рядом с ним. Она осталась в Стентоне, дожидаясь того дня, когда он сможет послать за ней. Сегодня ему было некуда идти, кроме как в благопристойный пансиончик на Двадцать восьмой западной<sup>[27]</sup>, где, поднявшись на третий этаж, он оказался бы в своей чистой и душной комнатке. Да, в Нью-Йорке он знал многих, в том числе и девушек. С одной из них он очень мило скоротал ночь, да только никак не мог припомнить ее фамилию. Но с ними ему сейчас не хотелось встречаться. И тут он вспомнил о Кэтрин Хейлси.

В день окончания института он послал ей телеграмму и с тех пор совершенно забыл о ней. Как только в его памяти возникло имя Кэтрин, ему захотелось увидеться с ней; это желание вспыхнуло мгновенно и с огромной силой. Он вскочил в автобус, идущий до Гринич Виллидж<sup>[28]</sup>, забрался на безлюдный империал<sup>[29]</sup> и, сидя в одиночестве на переднем сиденье, ругал светофоры, стоило на них появиться красному свету. И так бывало всякий раз, когда дело касалось Кэтрин, и всякий раз он недоумевал: что же с ним происходит?

Познакомился он с ней год назад, в Бостоне, где она жила со своей матерью-вдовой. При первой встрече он нашел Кэтрин скучной и некрасивой и не заметил в ней ничего хорошего, кроме приятной улыбки, которая еще не была достаточным основанием, чтобы ему захотелось вновь увидеть Кэтрин. На другой вечер он ей позвонил. Из множества девушек, с которыми он водился в студенческие годы, с ней единственной он не позволил себе ничего, кроме нескольких легких поцелуев. Он легко мог бы обладать любой из знакомых девушек и знал об этом. Знал он также, что мог бы обладать и Кэтрин; он желал ее; она была в него влюблена и спокойно, открыто признавалась в этом, без страха, без робости, ни о чем его не прося и ничего не ожидая, и все же он не спешил этим воспользоваться. Питер гордился девушками, с которыми водился в те годы, — самыми красивыми, самыми популярными, самыми модными. Зависть сокурсников радовала его чрезвычайно.

Он стыдился беззаботного и небрежного отношения Кэтрин к собственной внешности, нарядам и манерам; стыдно ему было и за то, что ни один молодой человек, кроме него, не обратил бы на нее ни малейшего внимания. Но когда он появлялся с ней на танцах, устроенных студенческим союзом, не было человека счастливее его. Питер влюблялся множество раз, бурно, страстно, и всякий раз клялся, что не может жить без этой девушки... или другой. Месяцами он начисто забывал о Кэтрин, а она никогда не напоминала ему о себе. Он всегда возвращался к ней, неожиданно, необъяснимо для самого себя. Так случилось и в этот вечер.

Ее мать, тихая и неприметная школьная учительница, умерла прошлой зимой. Кэтрин переехала в Нью-Йорк, к дяде. На некоторые из ее писем Китинг отвечал немедленно, на другие же — спустя несколько месяцев. Она всегда отвечала незамедлительно, но никогда не писала ему в те долгие промежутки, когда он молчал. Она ждала, ждала терпеливо. Когда ему случалось подумать о ней, он чувствовал, что заменить ее не может ничто в жизни. Но, оказавшись в Нью-



Йорке, где так легко было добраться до нее, сев в автобус или набрав телефонный номер, он начисто забыл о ней и не вспоминал в течение месяца.

Теперь, спеша к ней, он и не подумал, что надо было бы оповестить ее о своем визите, что ее может не оказаться дома. Ведь он всегда появлялся у нее неожиданно, и Кэтрин всегда оказывалась на месте, и этот вечер не был исключением.

Она открыла ему дверь. Ее квартира находилась на верхнем этаже построенного с большой претензией, но сильно запущенного большого особняка.

— Здравствуй, Питер, — сказала она так, словно они виделись только вчера.

Она стояла перед ним в наряде, который был ей велик и в длину, и в ширину. Короткая черная юбка мешком свисала со стройной талии; воротничок блузки, явно широкий для ее тонкой шеи, перекосясь, обнажив холмик тонкой ключицы; хрупкие руки терялись в широченных рукавах. Она смотрела на него, склонив голову набок. Ее каштановые волосы были небрежно собраны в хвостик на затылке. Но ему показалось, что у нее модная короткая стрижка, а волосы образуют легкий волнистый нимб вокруг ее лица. Глаза у нее были серые, большие, близорукие. Блестящие губы растянулись в неспешной, чарующей улыбке.

— Привет, Кэти, — сказал он.

Он ощутил полный покой. Ему нечего было бояться в этом доме, да и за его пределами. Он был готов объяснить с ней, рассказать, что здесь, в Нью-Йорке, у него не выдалось ни одной свободной минутки, только все объяснения казались сейчас ненужными.

— Давай мне шляпу, — сказала она. — И осторожнее с этим стулом, он не очень прочный. У нас в гостиной стулья получше, пойдем туда.

Гостиная, как он заметил, была обставлена просто, но с необъяснимым изяществом и большим вкусом, чего он никак не ожидал. Он обратил внимание на книги — недорогие стеллажи, поднимающиеся до самого потолка, были забиты ценнейшими изданиями. Книги стояли вразнобой, кое-как. Было видно, что здесь ими действительно пользуются. И еще он заметил над убогим, но аккуратно прибранным письменным столом офорт Рембрандта, пожелтевший и покрытый пятнами, высмотренный, по всей вероятности, в лавке старьевщика зорким знатоком, который ни за что не расстанется с этим сокровищем, хотя деньги, которые он мог за него выручить, явно бы ему не помешали. Питер задумался, чем же занимается дядя Кэтрин. Но этого вопроса так и не задал.

Он стоял, оглядывая гостиную, ощущая за своей спиной присутствие Кэтрин, наслаждаясь чувством полной уверенности, которое ему так редко доводилось испытывать. Потом он обернулся, обнял ее и поцеловал. Ее губы нежно и радостно слились с его губами. В ней не чувствовалось ни страха, ни особого волнения. Она была так счастлива, что не могла воспринять этот поцелуй иначе, чем нечто само собой разумеющееся.

— Боже мой, как я по тебе соскучился! — сказал он и почувствовал, что говорит чистую правду. Он скучал по ней каждый день, и больше всего, видимо, в те дни, когда вовсе не вспоминал о ней.

— Ты не очень изменился, — сказала она. — Может быть, чуточку похудел. Тебе идет. Питер, в пятьдесят лет ты будешь очень красив.

— Это не слишком лестно, если подумать.

— Почему? А, ты хочешь сказать, что я не считаю тебя красивым сейчас? Да нет же, ты такой красивый!

— Знаешь, тебе не следовало бы говорить мне это прямо в лицо.

— А что? Ты же знаешь, что это так. Я просто подумала, каким ты будешь в пятьдесят. У тебя будет седина на висках, а носить ты будешь серые костюмы — я на той неделе видела такой костюм в витрине и еще подумала, что это тот самый и есть. И ты будешь великим

архитектором.

— Ты на самом деле так думаешь?

— А как же иначе? — Она не льстила ему. Скорее всего, она вообще не представляла себе, что это может восприниматься как лесть. Она просто констатировала факт, причем факт настолько очевидный, что его даже не требовалось подчеркивать.

Он ждал неизбежных расспросов. Но вместо этого они вдруг заговорили о Стентоне, принялись делиться общими воспоминаниями, и Питер уже смеялся, посадив Кэтрин себе на колени. Она опиралась худыми плечами на его согнутую в локте руку, глаза ее смотрели нежно и удовлетворенно. Он говорил об их старых купальных костюмах, о спущенных петлях на ее чулках, о любимом кафе-мороженом в Стентоне, где они вместе провели так много летних вечеров. При этом он как-то неотчетливо думал, что так не годится, что ему надо сказать ей куда более важные вещи, задать ей более важные вопросы. Ведь никто не беседует о пустяках после многомесячной разлуки. Но ей такая беседа казалась совершенно естественной. Казалось, она вообще не сознает, что они давно не виделись.

Наконец он первым спросил:

— Ты получила мою телеграмму?

— Да. Спасибо.

— Разве тебе не интересно знать, как у меня идут дела здесь, в Нью-Йорке?

— Очень интересно. Как у тебя идут дела здесь, в Нью-Йорке?

— Слушай, да тебе совсем неинтересно!

— Интересно! Я хочу знать о тебе все.

— Тогда почему не спрашиваешь?

— Ты сам расскажешь, когда захочешь.

— А тебе все равно, не так ли?

— Что все равно?

— Чем я занимаюсь.

— А... Нет, совсем не все равно. Хотя да, все равно.

— Очень мило с твоей стороны!

— Понимаешь, мне не важно, *что* ты делаешь. Важен только *ты сам*.

— Как это — я сам?

— Ну, какой ты сейчас. Или какой в городе. Или еще где-нибудь. Я не знаю. Вот так.

— А знаешь, Кэти, ты такая дурочка. Твой метод никуда не годится.

— Мое что?

— Твой метод. Нельзя же так прямо, не стесняясь, показывать мужчине, что ты от него практически без ума.

— А если так и есть?

— Да, но об этом нельзя говорить. Тогда ты не будешь нравиться мужчинам.

— Но я не хочу нравиться мужчинам.

— Но ты ведь хочешь нравиться мне, да?

— Но я тебе и так нравлюсь — или нет?

— Нравишься, — сказал он, крепче обнимая ее. — Чертовски нравишься. Я еще больший идиот, чем ты.

— Ну тогда все в полном порядке, — сказала она, запустив пальцы в его шевелюру. — Или нет?

— Странно, что у нас все всегда в полном порядке... Кстати, я хочу рассказать тебе о своих делах, потому что это важно.

— Честное слово, Питер, мне очень интересно.

— Словом, ты знаешь, что я работаю у Франкона и Хейера и... А черт, ты даже не понимаешь, что это значит!

— Понимаю. Я посмотрела в справочнике «Кто есть кто в архитектуре». Там о них пишут очень приятные вещи. И еще я спрашивала у дяди. Он сказал, что они в архитектурном деле стоят выше всех.

— Еще бы. Франкон... он величайший архитектор в Нью-Йорке, во всей стране, возможно и в мире. Он спроектировал семнадцать небоскребов, восемь соборов, шесть вокзалов и еще Бог знает что... При этом, разумеется, он старый надутый осел и мошенник, который проложил себе дорогу лестью и взятками... — Он резко замолчал, открыв рот и вытаращив глаза. Он совсем не хотел такое сказать, никогда не позволял себе даже думать так.

Кэтрин спокойно смотрела на него.

— Да? — спросила она. — И что?..

— В общем... э-э-э... — Он запнулся, поняв, что по-другому говорить не может. А если может, то только не с ней. — В общем, так я его воспринимаю. И ни капельки его не уважаю. И счастлив работать у него. Понимаешь?

— Конечно, — тихо ответила она. — Ты честолюбив, Питер.

— Ты не презираешь меня за это?

— Нет. Ты же сам этого хотел.

— Вот именно, сам этого хотел. На самом деле все вовсе не так плохо. Это мощная фирма, лучшая во всем городе. Я действительно работаю неплохо, и Франкон мною очень доволен. Я хорошо продвигаюсь. Думаю, что, в конце концов, смогу занять у них любой пост, какой только пожелаю... Да, как раз сегодня я сделал работу за другого, который даже не понимает, что скоро окажется никому не нужным, и тогда... Кэти! Что это я такое плету?

— Все нормально, милый. Я все понимаю.

— Если бы понимала, то назвала бы меня тем словом, которого я заслуживаю, и велела мне заткнуться.

— Нет, Питер, я не хочу, чтобы ты изменился. Я же люблю тебя.

— Боже тебя сохрани!

— Я знаю.

— И ты это знаешь и так говоришь? Таким тоном, каким обычно говорят: «Привет, славный нынче вечерок»?

— А почему нельзя? Что тебе не нравится? Ведь я люблю тебя.

— Нет, нравится! Мне нравится!.. Кэти... я никогда не смогу полюбить кого-то, кроме тебя...

— И это я знаю.

Он обнял ее, бережно, словно опасаясь, что ее хрупкое тело вот-вот растает. Он не понимал, почему в ее присутствии признается в том, в чем не может признаться и самому себе. Он не понимал, почему торжество, которым он пришел поделиться, вдруг потускнело. Но все это не имело никакого значения. Его охватило странное чувство свободы — рядом с Кэтрин он всегда освобождался от какой-то тяжести, определить которую точнее не мог. Он становился самим собой. Теперь для него имело значение лишь одно — ощущать рукой грубую ткань ее блузки.

Потом он спросил, как она живет в Нью-Йорке, и она принялась оживленно рассказывать о дяде.

— Он такой замечательный, Питер. Ну совершенно замечательный! Бедный совсем и все же принял меня в свой дом. Даже освободил свой кабинет, чтобы мне было где устроиться, и теперь ему приходится работать здесь, в гостиной. Тебе непременно надо с ним познакомиться, Питер. Сейчас он в отъезде,

выступает с лекциями, но тебе надо с ним познакомиться, когда он приедет.

— Да, мне бы очень хотелось.

— Знаешь, я думала устроиться на работу и зарабатывать себе на жизнь, но он мне не позволил. «Деточка моя, — сказал он, — только не в семнадцать лет. Не хочешь же ты, чтобы мне было стыдно перед самим собой? Я не сторонник детского труда». Занятная мысль, правда? У него масса занятных мыслей, я не все понимаю, но говорят, что он человек выдающегося ума. И он все так представил, будто я делаю ему одолжение, позволив содержать меня, и, по-моему, он очень славно поступил.

— Чем же ты занимаешься целыми днями?

— Пока особенно ничем. Книги читаю. По архитектуре. У дяди тонны книг по архитектуре. Но когда он здесь, я печатаю ему лекции. Мне кажется, ему не очень нравится, что я это делаю, у него есть настоящая машинистка, но мне это очень нравится, и он мне разрешает. И даже платит мне жалование. Я не хотела брать, но он настоял.

— Чем же он зарабатывает на жизнь?

— Ой, многим, я даже не знаю, за всем не уследишь. Например, преподает историю искусств. Он что-то вроде профессора.

— Кстати, ты-то когда собираешься в колледж?

— А... Ну... в общем, понимаешь, мне кажется, дядя эту мысль не одобряет. Я ему сказала, что давно уже собиралась продолжить учебу и готова работать и учиться одновременно, но он, похоже, считает, что это не для меня. Он, правда, много на этот счет не говорит, сказал только: «Бог создал слона для тяжелого труда, а комара — чтобы жужжал, а с законами природы экспериментировать, как правило, не рекомендуется. Однако, дитя мое, если тебе так хочется...» Он на самом деле не возражает, я все решаю сама, но только...

— Не позволяй ему мешать тебе.

— Пойми, он и не хочет мешать мне. Только, понимаешь, я и в школе была не Бог весть что. И еще, любимый мой, с математикой у меня вообще не ладилось, и поэтому не знаю... Но с другой стороны, спешить мне некуда. У меня есть время подумать.

— Слушай, Кэти, мне это совсем не нравится. Ты же всегда мечтала поступить в колледж. И если этот твой дядя...

— Не говори о нем так. Ты же его совсем не знаешь. Это совершенно поразительный человек. Он такой добрый, все понимает.

И очень интересный, веселый, всегда шутит, да так умело — все, что казалось очень серьезным, в его присутствии оказывается совсем не таким. И при этом он чрезвычайно серьезный человек. Знаешь, он целыми часами говорит со мной, и ему не надоедает, его не раздражает моя глупость. Он мне все рассказывает о забастовках, о жутких условиях жизни в трущобах, о бедняках, которых заставляют трудиться из последних сил, — только о других, и никогда о себе. Один его друг сказал мне, что дядя мог бы стать очень богатым, если бы только захотел, он ведь такой умный. Только он не хочет, деньги его совсем не интересуют.

— Это же ненормально.

— Ты сначала с ним познакомься, а потом говори. Да, и он хочет с тобой познакомиться. Я ему про тебя рассказывала. Он называет тебя Ромео с рейшиной.

— Ах вот как?

— Да ты пойми! Он же по-доброму. Просто он так выражается. У вас много общего. Возможно, он окажется тебе полезен. Он тоже кое-что понимает в архитектуре. Ты непременно полюбишь дядю Эллсворта.

— Кого-кого?

— Да дядю моего!

— Скажи-ка, — попросил Китинг чуть охрипшим голосом, — как зовут твоего дядю?

— Элсворт Тухи. А что?

Китинг бессильно уронил руки и ошалело посмотрел на нее.

— Что с тобой, Питер?

Он сглотнул. Кэтрин увидела, как у него судорожно дернулся кадык. Потом он очень решительно сказал:

— Кэти, я не стану знакомиться с твоим дядей.

— Но почему?

— Не хочу. Через тебя — не хочу... Пойми, Кэти, ты же совсем меня не знаешь. Я из тех, кто использует людей в корыстных целях. А *тебя* я использовать не желаю. Никогда. И ты мне не позволяй. Кого угодно, только не тебя.

— Как это — использовать меня? Что это значит? Почему?

— Да все просто. За знакомство с Элсвортом Тухи я отдал бы все. Вот так. — Он хрипло рассмеялся. — Значит, по-твоему, он кое-что понимает в архитектуре? Дурочка ты! Да он — самая важная персона в архитектуре. Возможно, пока это еще не так, но через

пару лет будет так. Спроси у Франкона — эта старая лиса в таких делах не ошибается. Твой дядя скоро станет Наполеоном среди архитектурных критиков, вот увидишь. Во-первых, не так уж много охотников писать о нашей профессии, так что он быстренько сумеет монополизировать этот рынок. Видела бы ты, как все крупные шишки в нашем бюро облизывают каждую запятую в его публикациях! Ты говоришь, что он, может быть, окажется мне полезен? Да он может сделать мне имя, и сделает, и я непременно с ним познакомлюсь, когда буду к этому знакомству готов, так же как познакомился с Франконом. Но только не здесь, только не через тебя. Понимаешь? Не через тебя!

— Но, Питер, почему ты отказываешься?

— Потому что я не хочу так! Потому что это мерзко, потому что я все это ненавижу — свою работу, профессию, ненавижу все, что я делаю, и все, что буду делать! И я не намерен впутывать во все это тебя! Ведь, кроме тебя, у меня ничего *настоящего* в жизни нет! Умоляю тебя, Кэти, не вмешивайся в мои дела!

— В какие дела?

— Не знаю!

Не разжимая его объятий, она встала. Он припал лицом к ее бедру. Она гладила его по голове и смотрела на него сверху вниз.

— Ладно, Питер, мне кажется, я все поняла. Тебе не обязательно встречаться с ним, пока ты не захочешь. Только, когда захочешь, скажи мне. Если надо, можешь меня «использовать». Я не против. От этого ничего не изменится.

Когда он поднял голову, она тихо смеялась.

— Питер, ты перетрудился. У тебя нервы немножко не в порядке. Я заварю чаю, хочешь?

— Ой, я совсем забыл. Я же сегодня не ужинал. Времени не было.

— Надо же! Кошмар какой! Сию же минуту отправляйся на кухню! Сейчас что-нибудь придумаю.

Он вышел от нее через два часа. Он шел, ощущая в себе легкость, чистоту, светясь от счастья, позабыв о своих страхах, позабыв о Тухи и Франконе. Он думал лишь о том, что пообещал ей снова прийти завтра и что до завтра осталось ждать нестерпимо долго. Когда он ушел, она еще долго стояла у дверей, положив руки на дверную ручку, хранившую след его ладони, и думала о том, что он может прийти завтра — а может и через три месяца.

— Когда закончишь, — сказал Генри Камерон, — загляни ко мне в кабинет.

— Хорошо, — сказал Рорк.

Камерон резко развернулся на каблуках и вышел из чертежной. За весь месяц он впервые обратился к Рорку с такой длинной фразой.

Каждое утро Рорк приходил в чертежную, выполнял задания и не слышал ни единого слова, никаких замечаний. Камерон обычно находил в чертежную и подолгу стоял за спиной Рорка, заглядывая ему через плечо. Создавалось впечатление, что он намеренно старается смутить Рорка, сделать так, чтобы дрогнула его рука, четко выводящая линии на бумаге. Два других чертежника запарывали работу при одной мысли, что такое жуткое видение может появиться у них за спиной. Рорк же, похоже, вовсе не замечал этого. Он продолжал работать, неспешно и уверенно водя рукой, столь же неспешно откладывая притупившийся карандаш и брал другой. «Та-ак», — внезапно бурчал Камерон. Рорк поворачивал голову с вежливым и внимательным видом. «Да?» — спрашивал он. Камерон отворачивался, не сказав ни слова и презрительно прищурившись, словно желая показать, что не считает нужным отвечать, ;: выходил из комнаты. Рорк продолжал работу.

— Плохо дело, — поведал Лумис, молодой чертежник, своему престарелому коллеге Симпсону. — Невзлюбил старик этого парня. И я его хорошо понимаю. Этот здесь долго не протянет.

Симпсон был стар и немощен. Он служил у Камерона еще во времена, когда бюро занимало три этажа, застрял здесь и не мог понять, по какой причине. Лумис же был молод и выглядел совсем как те хулиганы, что собирались обычно на углах возле закуской. Здесь он оказался потому, что со всех прочих мест его выгнали.

Они оба недолюбливали Рорка. Да и всюду, куда бы Рорк ни пошел, при первом же взгляде на его лицо окружающие обычно начинали испытывать к нему неприязнь. Лицо его было непроницаемо, как дверь банковского сейфа. В сейфе хранят только ценные вещи — но люди не желали задумываться над этим. От его присутствия в комнате тянуло холодком, и это раздражало многих. Было в нем и еще одно странное свойство — он внушал окружающим такое чувство, будто он здесь и в то же время не здесь. Или, возможно, он здесь, а вот их самих нет.

После работы он отмеривал пешком весь неблизкий путь домой — в доходный дом на Ист-Ривер. Он выбрал это жилье потому, что всего за два пятьдесят в неделю в его распоряжение предоставлялся весь верхний этаж — колоссальных размеров помещение, которое раньше использовалось под склад. В нем не было потолка, а крыша протекала. Но зато здесь по обе стороны тянулись два ряда окон, где в некоторых рамах даже сохранились стекла, а другие были заделаны картонными листами. С одной стороны из этих окон открывался вид на реку, а с другой — на город.

Неделю назад Камерон заглянул в чертежную и швырнул на стол Рорка размашистый набросок с изображением загородного дома.

— Посмотрим, сумеешь ли ты из этого сделать настоящий дом! — рывкнул он и ушел, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. В последующие дни он не приближался к столу Рорка. Вчера вечером Рорк закончил чертежи и оставил их на столе Камерона. Утром Камерон зашел, кинул Рорку эскиз каких-то стальных перекрытий, приказал ему потом зайти в кабинет и больше в течение всего дня в чертежной не появлялся.

Остальные ушли домой. Прикрыв стол старой клеенкой, Рорк вошел в кабинет Камерона. На столе у того были разложены Рорковы чертежи загородного дома. Свет лампы падал на щеку Камерона, на бороду, в которой белели седые волоски, на его кулак, на угол чертежа, четкие линии которого словно впечатались в бумагу.

— Ты уволен, — сказал Камерон.

Рорк стоял посреди вытянутой комнаты, перенеся всю тяжесть тела на одну ногу, свесив руки по бокам, приподняв одно плечо.

— Да? — тихо спросил он не шелохнувшись.

— Иди сюда, — сказал Камерон. — Садись.

Рорк подчинился.

— Ты слишком хорош, — сказал Камерон. — Слишком хорош для той судьбы, которую сам себе готовишь. Бессмысленно, Рорк. Лучше понять это сейчас, чем потом, когда будет поздно.

— Что вы хотите сказать?

— Бессмысленно тратить отпущенные тебе годы на идеал, которого ты никогда не достигнешь, которого тебе просто не дадут достичь. Бессмысленно превращать свой талант в дыбу, на которой сам же и будешь распят. Продай его, Рорк. Продай сейчас. Конечно, это будет уже не то, но все же тебя на это хватит. У тебя есть то, за что будут платить, и много платить, если ты будешь использовать свой талант так, как они пожелают. Не отвергай их, Рорк. Иди на компромисс. Иди немедленно — потом все равно придется согласиться на компромисс, только тогда тебе придется пройти через такое, о чем потом придется горько сожалеть. Ты этого не знаешь. А я знаю. Избавь себя от этого. Уходи от меня. Уходи к кому-нибудь другому.

— А вы разве так поступили?

— Ты нахальный выродок! Я сказал, что ты хорош, но не более того! С кем ты себя равнять вздумал? С самим... — Он резко замолчал, так как увидел, что Рорк улыбается. Он посмотрел на Рорка и вдруг улыбнулся в ответ. Ничего более мучительного Рорку еще не доводилось видеть. — Нет, — сказал Камерон, — что-то я не то говорю, да? Совсем не то... В общем, ты прав. Ты верно себя оцениваешь. Но я хочу сказать тебе кое-что. Даже не знаю, с чего начать. Я утратил навык общаться с такими людьми, как ты. Утратил? Скорее всего, никогда не имел. Возможно, именно это меня сейчас и пугает. Постарайся понять, пожалуйста.

— Я все понимаю. Не тратьте времени впустую.

— А ты не груби. Потому что сейчас я не могу позволить себе грубить тебе. Я хочу, чтобы ты выслушал меня. Ты можешь выслушать и не перебивать?

— Да. Простите. Я не хотел быть невежливым.

— Понимаешь, я последний человек из всех, к кому тебе стоило обратиться. Если я оставлю тебя здесь, я совершу преступление. Жаль, что никто не предостерег тебя от меня. Я совсем не смогу тебе помочь. Я не сумею сбить с тебя кураж. Не сумею привить тебе здравый смысл. Вместо этого я буду подталкивать тебя, тащить тем же путем, каким ты идешь сейчас. Я силой заставлю тебя оставаться таким, какой ты есть, и сделаю тебя еще хуже... Пойми же. Через месяц я уже не смогу расстаться с тобой. Даже не уверен, что смогу сейчас. Так что не спорь со мной и уходи. Спасайся, пока не поздно.

— Но как? Вам не кажется, что нам обоим уже поздно спасаться? Мне и двенадцать лет назад было поздно.

— Попытайся, Рорк. Попытайся хоть раз проявить благоразумие. Есть много крупных фирм, которые возьмут тебя и не посмотрят на то, что тебя исключили из института, если я их попрошу. Они могут потешаться надо мной в своих речах на званных обедах, но когда им надо, беззастенчиво крадут у меня и прекрасно знают, что я сумею разобраться, хорош чертежник или плох. Я дам тебе письмо к Гаю Франкону. Когда-то давным-давно он у меня работал. Кажется, я его уволил, но это не имеет значения. Иди к нему. Поначалу тебе там не понравится, но ты привыкнешь. А через много лет будешь меня благодарить.

— Зачем вы мне все это говорите? Вы же хотите сказать совсем другое. И сами вы шли совсем другим путем.

— Потому я это и говорю! Именно потому, что сам шел другим путем!.. Понимаешь, Рорк, есть у тебя одна черта, которая меня очень пугает. Тут дело не в том, что выходит из-под твоего карандаша. Меня бы не тревожило, если бы ты был просто одаренным пижоном, который все

делает не так, как другие, просто для смеха, для забавы, для того, наконец, чтобы на него обратили внимание. Это ловкий ход — одновременно и противостоять толпе, и забавлять ее, потихоньку собирая денежки за вход на персональную выставку. Если бы дело обстояло так, я бы не беспокоился. Но все не так. Ты *влюблен* в свое ремесло. Господь тебя спаси, ты *влюблен!* А это проклятье. Это клеймо на лбу, выставленное на всеобщее обозрение. Ты не можешь жить без своей работы, и они об этом знают, и еще знают, что тут-то ты и попался! Ты когда-нибудь приглядывался к людям на улице? Я приглядывался. Они проходят мимо тебя, все в шляпах, со свертками... Но не в этом их суть. А суть их в том, что они *ненавидят* каждого, кто влюблен в свое ремесло. Более того, они их боятся, уж не знаю почему. Ты им подставляешься, Рорк, всем и каждому!

— Но я никогда не вижу людей на улице.

— А что они со мной сделали, ты видишь?

— Я вижу только, что вы их не боитесь. Почему же вы хотите, чтобы я их боялся?

— Почему? — Камерон подался вперед, сжав кулаки: — Рорк, хочешь, чтобы я произнес это вслух? Ты ведь жесток, да, Рорк? Ладно же, я произнесу: ты хочешь закончить так, как заканчиваю я? Ты хочешь быть тем, чем стал я?

Рорк поднялся и шагнул вперед, к самому столу.

— Если, — сказал Рорк, — в конце жизни я стану тем, кем вы являетесь здесь и сейчас, я буду считать это честью, которой я не заслужил и не мог бы заслужить ни при каких обстоятельствах.

— Да сядь ты! — рявкнул Камерон. — Терпеть не могу, когда выставляют напоказ свои чувства!

Рорк посмотрел на себя, на стол, крайне удивленный тем, что оказался на ногах. Он сказал:

— Простите. Я даже не заметил, что встал.

— Ну так садись и слушай. Я все понимаю. И это очень мило с твоей стороны. Но ты так ничего и не понял. Мне казалось, что нескольких дней работы в этой дыре хватит, чтобы выбить из твоей башки поклонение героям. Но теперь вижу, что этого оказалось недостаточно. Вот ты теперь сам себе внушаешь, какой великий человек старик Камерон, благородный боец, мученик за безнадежно проигранное дело, и ты уже готов умереть со мной на баррикадах и питаться со мной в грошовых забегаловках до конца дней своих. Я знаю, сейчас все это кажется тебе таким чистым и прекрасным с высоты твоей умудренности жизнью в двадцать два года. Но знаешь ли ты, что это такое на самом деле? Тридцать лет сплошных поражений. Звучит великолепно, не так ли? Но известно ли тебе, сколько дней в тридцати годах? Известно, как проходят эти дни? Известно?

— Вам же больно об этом говорить.

— Да! Больно! Но я буду говорить. Я хочу, чтобы ты выслушал, чтобы ты понял, что тебя ожидает. Придут дни, когда ты согласишься на свои руки, и тебе захочется взять что-нибудь тяжелое и переломать в них каждую косточку, потому что ты будешь терзаться мыслью о том, что могли бы сотворить эти руки, если бы ты изыскал для них такую возможность. Но тебе не удастся найти ни малейшей возможности, и ты возненавидишь собственное тело, потому что оно осталось безруким. Придут дни, когда водитель начнет орать на тебя, едва ты войдешь в автобус. Он всего лишь потребует десять центов за проезд, но ты услышишь совсем другое. Ты услышишь, что ты ничтожество, что ты смешон, что это у тебя на лбу написано и все ненавидят тебя за эту никчемность. Придут дни, когда ты будешь стоять в уголке зала и слушать рассуждения какого-то кретина об архитектуре, о деле, которое ты до безумия любишь, и сказанное им заставит тебя надеяться, что кто-нибудь сейчас встанет и раздавит его, как вонючего клопа. А потом ты услышишь, как все бешено рукоплещут ему, и тебе захочется



взвять, потому что непонятно, кто же настоящий — ты или они. То ли тебя засунули в каморку, полную разбитых черепов, то ли, наоборот, кто-то только что вышиб мозги из твоей головы. И ты ничего не скажешь, ибо те звуки, которые ты будешь в состоянии издать, в этом зале уже не считаются человеческим языком. Но если ты и захочешь говорить, то все равно не сможешь, тебя небрежно оттолкнут — ведь тебе совершенно нечего сказать им об архитектуре. Этого тебе хочется?

Рорк сидел неподвижно, на лице его резко пролегли тени, на впалой щеке отпечатался темный клин, длинный черный треугольник перерезал подбородок. Он не сводил глаз с Камерона.

— Тебе мало? — спросил Камерон. — Ладно, поехали дальше! Однажды ты увидишь перед собой на листе ватмана дом, перед которым тебе захочется упасть на колени. Ты не поверишь, что его создал ты сам. Потом ты решишь, что мир прекрасен, и в воздухе пахнет весной, и ты любишь всех людей, потому что в мире больше нет зла. И ты выйдешь из квартиры с этим чертежом, чтобы построить этот дом, поскольку тебе совершенно ясно, что такой дом захочется возвести каждому, кто взглянет на твой чертеж. Но далеко от квартиры ты не уйдешь. Ведь у дверей тебя остановит газовщик, который пришел отключить газ. Ты ел немного, так как сэкономил деньги, чтобы закончить проект, но все же иногда надо было что-то сготовить, а за газ ты не заплатил... Ну ладно, это мелочи, над этим можешь посмеяться. Но вот ты со своим чертежом попадаешь в чей-нибудь кабинет, ругая себя за то, что вытесняешь своим телом воздух, принадлежащий другому, и ты стараешься ужаться до невидимости, чтобы другой тебя не видел, а только слышал твой голос, умоляющий его, просительный голос, лижущий ему пятки. Ты будешь проклинать себя за это, но это будет неважно, только бы он дал тебе построить этот дом. Ты готов будешь распороть себе брюхо — ведь когда он увидит, что там, в этом брюхе, то уже не сможет отказать тебе. Но он лишь скажет, что ему очень жаль, но подряд только что отдан Гаю Франкону. И ты пойдешь домой, и знаешь, что ты будешь делать дома? Ты будешь плакать. Плакать, как женщина, как алкоголик, как животное. Вот какое тебя ждет будущее, Говард Рорк. Хочешь его?

— Да, — сказал Рорк.

Камерон опустил глаза. Немного опустил голову, потом еще немного. Голова его опускалась медленно, рывками, и, наконец, остановилась. Он сидел неподвижно, сторбив плечи, упираясь локтями в колени.

— Говард, — прошептал Камерон. — Такого я никому еще не говорил...

— Спасибо вам... — сказал Рорк.

После долгой паузы Камерон поднял голову.

— Теперь иди домой, — сказал он решительно. — Ты слишком много работал в последнее время. А впереди у тебя тяжелый день. — Он показал на чертежи загородного дома: — Все это замечательно. Мне просто хотелось взглянуть, на что ты способен. Только строить еще нельзя, плоховато будет. Так что придется все переделать. Завтра я тебе покажу, что мне нужно.

За год работы в фирме Франкона и Хейера Китинг приобрел статус кронпринца. Громко об этом не говорили, но перешептывались. Оставаясь всего лишь чертежником, он стал всевластным фаворитом Франкона, и тот постоянно брал его с собой обедать. Подобной привилегии еще не достаивался ни один из служащих. Франкон вызывал его на все беседы с заказчиками, которым, видимо, приятно было увидеть столь декоративного молодого человека в архитектурном бюро.

У Луисиуса Н. Хейера была неприятная привычка ни с того ни с сего спрашивать Франкона: «Как давно у вас этот новичок?», показывая при этом на служащего, проработавшего здесь уже три года. Но, к всеобщему удивлению, Хейер запомнил Китинга по имени и при каждой встрече улыбался ему, всем своим видом показывая, что узнал его. В один ненастный ноябрьский день Китинг долго и обстоятельно беседовал с ним о старом фарфоре. Это было хобби Хейера; он владел прославленной коллекцией, которую собирал с истинной страстью. Китинг проявил неплохое знание предмета, хотя впервые услышал о старом фарфоре лишь накануне вечером, после чего тут же отправился в публичную библиотеку. Хейер был в восторге; никто во всем бюро не проявлял к его увлечению ни малейшего интереса; мало кто вообще замечал его присутствие. В беседе с партнером Хейер не преминул заметить:

— Ты очень неплохо подбираешь людей, Гай. Этот паренек... как бишь его?.. Китинг — просто клад.

— О да, — улыбаясь, ответил Франкон. — О да.

В чертежной Китинг сосредоточил все усилия на Тиме Дейвисе. Сама по себе работа, готовые чертежи, были неизбежными, но несущественными деталями в трудовой жизни Китинга. Сутью же ее на этом начальном этапе профессиональной карьеры стал Тим Дейвис.

Большую часть собственной работы Дейвис теперь перепоручал ему. Поначалу это касалось лишь сверхурочной работы, потом и некоторой части дневных заданий. Вначале это делалось тайком, потом открыто. Дейвис не хотел, чтобы об этом знали; Китинг устроил так, что об этом узнали все, приняв при этом наивно доверительный тон, как бы подразумевая, что сам он, Китинг, не более чем инструмент, наподобие карандаша или рейсшины в руках Тима, а его помощь никак не умаляет, но лишь подчеркивает высочайшее мастерство Тима. Именно поэтому он, Китинг, и не считает нужным скрывать этот факт.

Сначала Дейвис передавал свои задания Китингу; затем старший чертежник стал принимать такое положение вещей как само собой разумеющееся и начал приходить к Китингу напрямую с поручениями, предназначенными для Дейвиса. Китинг был всегда готов, всегда с улыбкой говорил: «Я все сделаю. Не приставайте к Гиму с такими мелочами. Я справлюсь сам». Дейвис успокоился и пустил дело на самотек. Он беспрестанно выходил покурить, слонялся без дела по чертежной или сидел на табуретке, праздно закинув ногу за ногу, прикрыв глаза и грезя об Элен. Лишь изредка он лениво осведомлялся: «Ну что, Пит, готово?»

Весной Дейвис женился на Элен. Он стал часто опаздывать на работу и завел обыкновение шептать на ухо Китингу:

— Слушай, Пит, ты ведь со стариком о дружбе. Замолви за меня словечко, ладно, чтобы не особо ко мне придирался? Господи, ну что за наказание — работать в такое время!

А Китинг говорил Франкону:

— Простите, мистер Франкон, что мы запоздали с чертежами подвального этажа для дома Мюрреев, но, понимаете, вчера Тим Дейвис повздорил с женой, а вы ведь представляете себе, что такое новобрачные, так что, пожалуйста, не судите их строго. — Или: — Это опять из-за

Тима, мистер Франкон, простите его, пожалуйста, он ничего поделывать не может. Ему сейчас не до работы!

Когда Франкон заглянул в платежную ведомость своего бюро, он обратил внимание, что самый высокооплачиваемый чертежник одновременно и самый бесполезный.

Когда Тима Дейвиса уволили, никто в бюро не удивился, кроме самого Тима Дейвиса. Он ничего не мог понять и ожесточился на весь мир до конца дней своих. Еще он почувствовал, что в целом свете у него есть только один друг — Питер Китинг.

Китинг утешал его, проклинал Франкона, проклинал людскую несправедливость, потратил шесть долларов, угощая в ресторанчике знакомую секретаршу плохонького архитектора, и нашел новое место для Тима Дейвиса.

После этого он всякий раз вспоминал о Дейвисе с теплым и приятным чувством. Он *изменил* судьбу человека, вышвырнул его с одной тропы и запихнул на другую; человека, который для Китинга был уже не Тимом Дейвисом, а лишь абстрактным телом, наделенным сознанием. Почему он всегда так боялся этого непостижимого явления — сознания, которым наделены другие? Ведь ему, Китингу, удалось направить чужое тело и чужое сознание по иному пути, согласно его, Китинга, воле.

По единодушному решению Франкона, Хейера и старшего чертежника место Дейвиса, вместе с рабочим столом и жалованием, было передано Питеру Китингу. Но не только это радовало Китинга, более сильное — и более опасное — удовлетворение доставляло ему другое ощущение. Он часто и весело повторял: «Тим Дейвис? Ах да, это тот, которому я нашел новое место».

Он написал об этом матери. Она заявила подругам: «Мой Пит такой бескорыстный мальчик».

Он послушно писал ей каждую неделю. Письма его были короткими и почтительными. От нее же он получал письма длинные, подробные, полные разных советов. Он редко дочитывал их до конца.

Иногда он заглядывал к Кэтрин Хейлси. После того памятного вечера он не сдержал обещания прийти на другой день. Утром он проснулся, вспомнил все, что говорил ей, и возненавидел ее за то, что сказал ей такое. Но через неделю он вновь пришел к ней. Она не стала упрекать его, и они ни словом не обмолвились о ее дяде. После этого он встречался с ней раз в месяц или в два. Он был счастлив видеть ее, но никогда не заговаривал с ней о работе.

Он попробовал поговорить об этом с Говардом Рорком, но попытка не увенчалась успехом. Он дважды заходил к Рорку, с остервенением преодолевая пять лестничных маршей до его комнаты. Он радовался встрече с Говардом, ожидая получить у него поддержку. Питер и сам не понимал, какого рода поддержку он хочет получить и почему ее надо искать именно у Рорка. Он рассказывал о своей работе и с искренней заинтересованностью спрашивал Рорка о бюро Генри Камерона. Говард выслушивал его, охотно отвечал на все вопросы, но при этом у Китинга возникало ощущение, будто все его слова разбиваются о стальной щит в сосредоточенном взгляде Рорка и будто они говорят о совершенно разных вещах. Во время бесед Китинг замечал обтрепанные манжеты Рорка, его стоптанные ботинки, заплатку на колене — и испытывал большое удовлетворение. Уходил он посмеиваясь, но одновременно ощущал себя как-то очень неуютно. Он не понимал, откуда бралось это неприятное ощущение, и клялся сам себе, что ноги его больше у Рорка не будет, и недоумевал — отчего же он ничуть не сомневается, что придет сюда еще не раз?

— Ну, знаешь, — сказал Китинг, — у меня пороку не хватит так сразу пригласить ее на обед, но послезавтра она идет со мной на выставку Моусона. А дальше-то что?

Он сидел на полу, опираясь головой на край дивана и вытянув перед собой босые ноги. На

нем свободно болталась пижама цвета ликера «Шартрез», принадлежавшая Гаю Франкону.

Через распахнутую дверь ванной он видел Франкона, который стоял возле раковины, упираясь животом в ее сверкающий край. Франкон чистил зубы.

— Прекрасно, — сказал Франкон. Рот его был полон пасты. — Так будет ничуть не хуже. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду?

— Нет.

— Господи, Пит, я же тебе вчера объяснил, еще до того, как все началось. Муж миссис Данлоп хочет построить для нее дом.

— Ах да, — слабым голосом ответил Китинг, убирая с лица слипшиеся черные кудри. — Теперь вспомнил... Боже мой, Гай, как трещит голова!..

Он смутно припомнил званый ужин, на который Франкон привел его вчера вечером. Припомнил замороженную черную икру, которую подавали в глыбе льда, припомнил симпатичное лицо миссис Данлоп и ее черное вечернее платье из тюля, но так и не мог вспомнить, каким же образом он очутился здесь, в квартире Франкона. Он пожал плечами — в последний год он нередко бывал на разных приемах вместе с Франконом, и частенько его приносили сюда в беспамятстве.

— Это не очень большой дом, — говорил Франкон, засунув в рот зубную щетку. От этого на одной его щеке образовалась выпуклость, а изо рта торчала зеленая ручка щетки. — Тысяч примерно на пятьдесят. Мелочевка, да и сами Данлопы тоже. Но у миссис Данлоп есть сестра, которая замужем за самим Квимби... тем самым крупнейшим торговцем недвижимостью. Так что вовсе не повредит заполучить подходец к этому семейству. И тебе, Пит, я поручаю разузнать, что еще можно выжать из этого наказа. Могу я на тебя рассчитывать?

— Конечно, — сказал Китинг, опустив голову. — Ты можешь па меня рассчитывать во всем, Гай...

Он сидел неподвижно, разглядывая пальцы босых ног, и думал о Штенгеле, проектировщике Франкона. Он не хотел о нем думать, по мысли его автоматически возвращались к Штенгелю. И так было уже несколько месяцев — ведь Штенгель воплощал собой вторую ступеньку его карьеры.

Для дружеских отношений Штенгель был недостижим. Два года все попытки Китинга ломались об лед его очков. Мнение Штенгеля о нем шепотом пересказывалось в бюро, но немногие решались произнести его вслух, разве что предварительно расставив кавычки. Штенгель же высказывался открыто, хотя прекрасно знал, что все исправления, с которыми его эскизы возвращались от Франкона, сделаны рукой Китинга. Но у Штенгеля было одно уязвимое место: он давно уже подумывал уйти от Франкона и открыть собственное бюро. Он уже подыскал себе партнера, молодого архитектора, совершенно бездарного, но унаследовавшего крупное состояние. Штенгель лишь дожидался благоприятной возможности. Китинг очень много размышлял над этим. Он просто не мог думать ни о чем другом. И теперь, сидя на полу в спальне Франкона, он тоже думал об этом.

Через два дня, сопровождая миссис Данлоп по галерее, где экспонировались картины некоего Фредерика Моусона, он окончательно определился с планом действий. Китинг вел миссис Данлоп через жиденькую толпу, иногда брал ее под локоток, позволяя ей уловить его взгляд, чаще направленный на ее молодое лицо, чем на картины.

— Да, — сказал он, когда она послушно разглядывала пейзаж, изображающий автомобильную свалку, и старалась придать лицу выражение надлежащего восторга. — Замечательное произведение. Обратите внимание на цвета, миссис Данлоп... Говорят, этому Моусону крепко досталось в жизни. Обычная история — борьба

за признание и все такое. Старо как мир, но очень трогательно. Так происходит в любом

искусстве. Включая и мою профессию.

— Ах, неужели? — сказала миссис Данлоп. Судя по выражению ее лица, в этот момент она явно предпочитала архитектуру всем прочим искусствам.

— А вот здесь, — сказал Китинг, остановившись перед изображением старой карги, которая сидела на обочине дороги и, разувшись, ковыряла пальцы ног, — здесь искусство выступает в роли социально-критического документа. Восприятие такого искусства требует смелости.

— Какая великолепная картина! — вставила миссис Данлоп.

— Да-да, именно смелости. Это редкое качество... Говорят, что Моусон умирал от голода на своем чердаке, когда миссис Стювесант открыла его. Помочь становлению молодого таланта — это так благородно!

— Да, это возвышает, — согласилась миссис Данлоп.

— Если бы я был богат, — мечтательно проговорил Китинг, — то у меня было бы такое хобби. Я устраивал бы выставки молодых художников, финансировал концерты молодых пианистов, заказал бы постройку дома начинающему архитектору...

— А знаете, мистер Китинг, ведь мы с мужем собираемся построить небольшой домик на Лонг-Айленде.

— Да что вы говорите? Миссис Данлоп, вы так мило доверили мне эту новость. Вы еще так молоды, извините за такие слова. Вы не боитесь, что я начну докучать вам, стараясь заинтересовать вас моей фирмой? Или избавили себя от такой напасти, уже подыскав архитектора?

— Отнюдь не избавила, — любезно отвечала миссис Данлоп. — И, честно говоря, вовсе не боюсь такой напасти. За последние дни я много думала о фирме «Франкон и Хейер». Я слышала о них столько хорошего!

— О, вы так любезны, миссис Данлоп.

— Мистер Франкон — великий архитектор.

— О да!

— А что такое?

— Нет, ничего. Решительно ничего.

— Вы все же скажите.

— Вы действительно хотите это услышать?

— Да, разумеется.

— Видите ли, Гай Франкон — это просто громкое имя. Он сам вообще не будет заниматься вашим домом. Это один из профессиональных секретов, который мне не следовало бы разглашать, но в вас есть нечто такое, что заставляет меня быть с вами откровенным. Все лучшие дома, созданные в нашей фирме, спроектировал мистер Штенгель.

— Кто?

— Клод Штенгель. Вы не слышали этого имени, но непременно услышите, если у кого-нибудь хватит смелости открыть его. Понимаете, всю работу делает он, он и есть настоящий, хоть и незаметный, талант, но Франкон ставит свою подпись и стяжает все лавры. Так делается повсюду.

— Но почему мистер Штенгель терпит такое?

— А что ему остается делать? Никто не хочет предоставить ему возможность работать самостоятельно. Вы же знаете, как устроены большинство людей — все хотят идти проторенными путями и готовы заплатить втридорога за тот же товар, лишь бы на нем стояло клеймо известной фирмы. Смелости им не хватает, миссис Данлоп, смелости. Штенгель великий мастер, но очень немногим дано это понять. Он готов открыть собственное дело, если

только найдется выдающаяся личность вроде миссис Стювесант, которая предоставит ему такой шанс.

— Надо же! — воскликнула миссис Данлоп. — Как интересно! Расскажите-ка поподробней.

И он рассказал. К тому времени, как они закончили осмотр творений Фредерика Моусона, миссис Данлоп уже трясла его руку и говорила:

— Так любезно, так изумительно мило с вашей стороны! Вы уверены, что не попадете в неловкое положение перед вашей фирмой, если устроите мне встречу с мистером Штенгелем? Я сама все как-то не осмеливалась это предложить, а вы так добры, что, надеюсь, не рассердитесь на меня за это, ведь правда? Вы проявили такое бескорыстие, на которое никто на вашем месте не отважился бы.

Когда Китинг подошел к Штенгелю с приглашением отобедать с миссис Данлоп, тот выслушал его, не проронив ни слова. Затем он резко потрянул головой и столь же резко спросил:

— А ты-то с этого что будешь иметь?

Китинг не успел ответить. Штенгель внезапно выпрямился.

— Ага, — сказал он. — Все ясно. — Он снова наклонился, скривив губы в презрительной усмешке. — Хорошо. Я приду на этот обед.

Когда Штенгель уволился от Франкона и Хейера, открыл собственное бюро и, тут же получив свой первый заказ от Данлопов, приступил к проектировке их дома, Гай Франкон сломал линейку о край стола и заорал, повернувшись к Китингу:

— Какой негодяй! Какой гнусный негодяй! После всего, что я для него сделал!

— Чего же ты хочешь? — спросил Китинг, развалившись в низком кресле. — Такова жизнь.

— Вот чего я никак в толк не возьму — как этот вонючка пронюхал о заказе? Ведь прямо из-под носу у нас увел!

— Я никогда ему особенно не доверял. — Китинг пожал плечами. — Натура человеческая...

В голосе Китинга звучала неподдельная обида. Ведь он так и не дождался благодарности от Штенгеля. На прощание тот лишь бросил ему: «А ты еще больший мерзавец, чем мне казалось. Что ж, будь счастлив! Из тебя получится великий архитектор».

Так Китинг получил место главного проектировщика у Франкона и Хейера.

Франкон отметил это событие небольшой скромной оргией в одном из уютных дорогих ресторанов.

— Через пару лет, — все твердил он, — через пару лет мы такое закрутим, Пит... Ты славный парень, и я тебя люблю, и я для тебя готов на все... Разве я тебе не помогал?.. Ты еще такое увидишь... через пару лет...

— Гай, у тебя галстук съехал набок, — сухо заметил Китинг. — И не поливай коньяком жилетку...

Получив первое задание по разработке проекта, Китинг вспомнил о Тиме Дейвисе, о Штенгеле, о других, которые к этому стремились, боролись, старались — и ничего у них не получилось. Ибо всех победил он, Питер Китинг. Его переполняло чувство торжества — ведь он получил осязаемое доказательство собственного величия. И тут он заметил, что сидит в своем кабинете со стеклянными стенками совсем один и смотрит на чистый лист бумаги. Совсем один. Что-то прокатилось из горла в желудок, холодное, пустое. Это было знакомое ощущение полета в пропасть. Он облокотился о стол и прикрыл глаза. До этого момента ему как-то не вполне верилось, что от него действительно ждут, чтобы он на этом листе бумаги что-то изобразил... что-то создал.

Собственно, требовалось создать совсем небольшой коттедж. Но дом никак не вырастал

перед его мысленным взором. Более того, очертания будущего строения предстали перед ним в виде глубокой ямы в земле. И такую же яму он почувствовал в себе самом — пустоту, в которой только бессмысленно трещали о чем-то Штенгель и Дейвис... Об этом доме Франкон сказал ему: «В нем должно быть благородство, понимаешь, благородство... никаких выкрутасов... строгая гармония... И не вылезай из сметы». Это, по представлениям Франкона, и означало «дать проектировщику общую концепцию и предоставить ему возможность самостоятельно проработать детали». В холодном оцепенении Китинг представил себе, как клиенты смеются ему в лицо; он услышал тихий, но полный силы голос Эллсворта Тухи, призывающий его обратить внимание на великолепные возможности, открывающиеся в области сантехники. Все сооружения, возведенные человеком на земле, стали ему ненавистны. Он ненавидел сам себя за то, что избрал профессию архитектора.

Начав рисовать, он старался не думать о том, что делает. Он думал только о том, что ведь это делали и Франкон, и Штенгель, и даже Хейер, и другие тоже, и если уж у них получалось, то непременно получится и у него.

Он потратил много дней на предварительные эскизы. Часами он не вылезал из служебной библиотеки, выбирая внешний облик дома из множества фотографий памятников античной архитектуры. Он чувствовал, как в мозгу его тает напряжение. Дом, который начинал у него получаться, — это правильный дом, хороший дом. Ведь люди не перестали поклоняться древним мастерам, строившим подобные дома много веков назад. Не надо сомневаться, бояться, не надо рисковать. За него все уже сделали другие.

Когда эскизы были готовы, он долго стоял над ними и смотрел на них в полной растерянности. Если бы ему сказали, что это самый лучший дом в мире или что здания уродливее еще не существовало на земле, он охотно согласился бы и с тем и с другим. Он не знал наверняка. А надо было знать. Он вспомнил о Стентоне, о том, что делал в те годы, работая над сходными заданиями. И тут же позвонил в бюро Камерона и попросил позвать Говарда Рорка.

Вечером он пришел в комнату Рорка и разложил перед ним планы, проекции, объемные изображения первого своего здания.

Рорк постоял над ними, широко расставив руки и держась пальцами за край стола. Долгое время он молчал.

Китинг тревожно ждал и чувствовал, как вместе с тревогой в нем нарастает гнев — из-за того, что он никак не мог понять причину своей тревоги. Когда он больше не мог этого вынести, он заговорил:

— Понимаешь, Говард, все говорят, что Штенгель — лучший проектировщик в городе, и, по-моему, он еще не собирался уходить от нас. Но я устроил так, что он уволился, а сам занял его место. Мне пришлось над этим здорово пошевелить мозгами, и я...

Он остановился. Его слова звучали отнюдь не гордо и весело, как звучали бы в любом другом месте. Они звучали как слова нищего попрошайки.

Рорк повернулся и посмотрел на него. В этом взгляде не было презрения. Глаза Рорка были лишь приоткрыты шире обычного, внимательные и озадаченные. Рорк ничего не сказал и вновь склонился над эскизами.

Китинг почувствовал себя голым и беззащитным. Здесь ничего не значили имена Дейвиса, Штенгеля, Шранкона. От людей Китинга защищали только люди, Рорк же совсем не ощущал людей. *От других Китинг получал ощущение собственной значимости. От Рорка он не получал ничего.* У него мелькнула мысль, что надо бы схватить эскизы и бежать отсюда. Опасность исходила не от Рорка. Опасность заключалась в том, что он, Китинг, остается здесь.

Рорк повернулся к нему:

— Питер, тебе нравится заниматься такими вещами?

— Я знаю, — почти истерично отозвался Китинг, — я знаю, что ты такого не одобряешь. Но это бизнес. Я только хотел спросить, что ты думаешь об этом с *практической* точки зрения. Не с философской, не...

— Не беспокойся. Я не собираюсь читать тебе проповедей. Просто интересно стало.

— Если бы ты только согласился помочь мне, Говард, чуть-чуть помочь... Это ведь мой первый дом, он так много для меня значит, и для моей работы тоже... а я все как-то сомневаюсь. А тебе как кажется? Так ты сможешь мне, Говард?

— Хорошо.

Рорк отбросил в сторону эскиз красивого фасада с рифлеными пилястрами<sup>[30]</sup>, ломаными фронтонами, ликторскими пучками прутьев<sup>[31]</sup> и двумя имперскими орлами у портика. Он взял чертеж и, положив поверх него лист кальки, принялся чертить. Китинг стоял, наблюдая за карандашом в руках Рорка. Он увидел, как исчезают внушительный вестибюль, кривые коридоры, неосвещенные углы. Он увидел, как в объеме, который сам он посчитал недостаточным, вырастает огромная гостиная, появляется стена, состоящая из гигантских окон, выходящих в сад, просторная кухня. Смотрел он долго.

— А фасад? — спросил он, когда Рорк отбросил карандаш.

— С ним я тебе помочь не могу. Если обязательно нужна классика, пусть будет классика, только хорошая. Не нужны три пилястры там, где хватит одной. И убери с портика этих уток — это уж чересчур.

Уходя, Китинг благодарно улыбнулся ему. Держа папку под мышкой, он спускался по лестнице, исполненный обиды и злости.

Три дня он трудился, изготавливая чертежи по эскизам Рорка и новые, упрощенные проекции. Свой дом он представил Франкону гордым, несколько витиеватым жестом.

— М-да, — сказал Франкон, изучая чертежи. — М-да, доложу я вам!.. Ну и воображение у тебя, Питер... Несколько смеловато, пожалуй, но все-таки... — Кашлянув, он добавил: — Это именно то, что я имел в виду.

— Разумеется, — ответил Китинг. — Я изучил твои дома и постарался представить себе, что бы ты сделал на моем месте. Если получилось неплохо, так только потому, что я научился понимать твои замыслы.

Франкон улыбнулся, и Китинг вдруг понял, что Франкон не верит ни одному его слову и прекрасно знает, что и Китинг ничему этому не верит. И все же оба были очень довольны. Общий метод и общая ложь еще больше сплотили их.

Письмо, лежащее на столе у Камерона, с искренним сожалением извещало его, что совет директоров Трастовой компании ценных бумаг после тщательного рассмотрения вынужден был отклонить его проект здания для нового филиала вышеозначенной компании в городе Астория<sup>[32]</sup> и что заказ передан фирме «Гулд и Петтингилл». К письму был приложен чек на заранее оговоренную сумму в уплату за затраченные усилия. Эта сумма не покрывала даже расходов на материалы, пошедшие на подготовку проекта.

Развернутое письмо лежало на столе. Камерон сидел у стола, отодвинувшись подальше, не притрагиваясь к нему, плотно сжав ладонь, лежащую на коленях, напряженными пальцами другой руки. Это был всего-навсего листок бумаги, но Камерону казалось, будто от этого листка, как от радия, исходят невидимые лучи, которые поразят его, если он только пошевелится. И он сидел, съежившись, в полной неподвижности.

Он ждал заказа от этой компании три месяца. За последние два года те немногие предложения, которые изредка еще делались ему, исчезали одно за другим, начинаясь туманными обещаниями и оканчиваясь однозначным отказом. Давно пришлось расстаться с одним из чертежников. Домовладелец приставал с вопросами — сначала вежливо, потом сухо и,



наконец, грубо и без всякого стеснения. Но никого в бюро не раздражали ни выходы домовладельца, ни задержки жалования: ведь у них была надежда на заказ от Трастовой компании. Вице-президент компании, предложивший Камерону выдвинуть свой проект, заявил: «Я знаю, что в совете директоров не все разделяют мое мнение. Но дерзайте, мистер Камерон. Доверьтесь мне, а я буду за вас бороться».

Камерон доверился. Они с Рорком работали как проклятые — лишь бы все закончить вовремя, задолго до назначенного срока, прежде чем Гулд и Петтингилл представят свой проект. Петтингилл был двоюродным братом жены президента компании и крупнейшим специалистом по развалинам Помпеи. Сам же президент был страстным поклонником Юлия Цезаря и как-то раз, будучи в Риме, целых полтора часа благоговейно изучал Колизей.

Камерон и Рорк сутками не вылезали из чертежной, встречая один холодный рассвет за другим. Камерон невольно ловил себя на мысли о счете за электричество, но тут же заставлял себя забыть о нем. Далеко за полночь в чертежной еще горел свет; Камерон посылал Рорка за бутербродами. Рорк, выходя на улицу, попадал в серое утро — в бюро, в окнах, выходящих на высокую кирпичную стену, еще царила ночь. В последний день Рорк велел Камерону отправляться домой сразу после полуночи, потому что у того немилосердно дрожали руки, а нога постоянно искала опоры в виде высокого табурета, на который Камерон медленно и очень аккуратно ставил колено. Именно на эту аккуратность было большее всего смотреть. Рорк отвел учителя вниз, усадил в такси, и в свете уличных фонарей Камерон увидел его лицо, изможденное, с сухими губами, увидел глаза, которые закрывались сами собой. На другое утро Камерон вошел в чертежную и сразу же увидел на полу опрокинутый кофейник, вокруг которого расплылась черная лужица. В этой лужице, ладонью вверх, лежала рука Рорка с полусогнутыми пальцами. Рорк, растянувшись на полу и запрокинув голову, крепко спал. На столе Камерон обнаружил законченный проект...

Он сидел, глядя на письмо, лежащее на столе. Самое унижительное заключалось в том, что он даже не мог думать о тех бессонных ночах, о здании, которое должно было подняться в Астории\*, о здании, которое теперь появится там вместо него. В голове осталась лишь мысль о неоплаченном счете за электричество...

За эти последние два года Камерон иногда неделями не появлялся в бюро, а Рорк не находил его дома и прекрасно понимал, что происходит, но мог только ждать, уповая на благополучное возвращение Камерона. Потом Камерон даже перестал стыдиться своих мук и приходил на работу покачиваясь, никого не узнавая. Мертвецки пьяный, он выставлял свое состояние напоказ в стенах того единственного на земле места, к которому относился с уважением.

Рорк научился встречать своего домовладельца спокойным утверждением, что не сможет расплатиться с ним еще неделю. Домовладелец боялся его и не решался настаивать. Питер Китинг каким-то образом узнал об этом, как всегда узнавал то, о чем хотел узнать. Однажды вечером он явился в выстуженную комнату Рорка и уселся, не снимая пальто. Он извлек бумажник, вытащил оттуда пять десятидолларовых банкнот и вручил Рорку:

— Тебе нужны деньги, Говард. Я знаю, что тебе они нужны. Только не возражай. Отдашь, когда сможешь.

Рорк с удивлением посмотрел на него, взял деньги и сказал:

— Да, мне нужны деньги. Спасибо, Питер.

Тогда Китинг сказал:

— Какого черта ты растрачиваешь себя впустую у старика Камерона? Ради чего ты прозябаешь здесь, словно последний оборванец? Бросай это дело, Говард, и переходи к нам. Мне достаточно только сказать, и Франкон тебя с радостью возьмет. Для начала мы положим тебе

шестьдесят в неделю.

Рорк вынул из кармана деньги и вернул их Китингу.

— Говард, да ты что? Я... я не хотел тебя обидеть.

— И я тоже.

— Но, Говард, прошу тебя, оставь себе деньги.

— Спокойной ночи, Питер.

Рорк вспомнил этот случай, когда Камерон вошел в чертежную, держа в руках письмо из Трастовой компании. Он передал письмо Рорку, молча повернулся и ушел к себе в кабинет. Рорк прочел письмо и пошел вслед за учителем. Когда они теряли очередной заказ, Рорк знал, что Камерон хочет видеть его в своем кабинете, — но не затем, чтобы поговорить о неудаче, а лишь для того, чтобы он там был, чтобы можно было поговорить о постороннем, найти хоть какое-то утешение в том, что рядом верный ученик.

На столе Камерона Рорк увидел номер нью-йоркского «Знамени».

Это была ведущая газета мощного синдиката Винанда. Рорк ожидал увидеть газету такого рода на кухне, в парикмахерской, в третьесортной гостиной какого-нибудь дома, в метро — где угодно, но только не в кабинете Камерона. Камерон увидел, что Рорк разглядывает газету, и ухмыльнулся:

— Нынче утром приобрел, по пути сюда. Смешно, правда? Я ведь не знал, что мы сегодня... получим это письмо. И все же они очень подходят друг другу — письмо и газета. Не знаю, что меня дернуло купить ее. Должно быть, чувство символики. Взгляни на нее, Говард. Это любопытно.

Рорк просмотрел газету. На первой полосе была помещена фотография матери-одиночки с пухлыми глянцевыми губами, она застрелила своего любовника. Под фотографией расположились первая часть биографии этой женщины и подробный отчет о судебном процессе. На последних страницах теснились статьи, гневно обличающие городские коммунальные службы, ежедневный гороскоп, фрагменты церковных проповедей, советы новобрачным, фотографии девушек с красивыми ножками, рекомендации тем, кто желает сохранить мужа, конкурс на лучшего ребенка, стихотворение, провозглашающее, что вымыть посуду благороднее, чем написать симфонию, статья, в которой доказывалось, что женщина, родившая ребенка, автоматически становится святой.

— Вот и ответ, Говард. Ответ тебе и мне. Эта газета. Она существует, и ее любят. Можешь ты с этим бороться? Можешь ли ты найти слова, которые читатели такой газеты услышали бы и поняли? Им не надо было присылать нам письмо. Лучше бы прислали экземпляр винандовского «Знамени». Так было бы проще и понятней. А знаешь ли ты, что через три года этот подонок Гейл Винанд будет управлять всем миром? То-то будет прекрасный мир! И возможно, он прав.

Камерон держал газету в вытянутой руке, будто взвешивал ее на ладони.

— Дать им, чего они хотят, Говард, и позволить им обожать тебя за это, за то, что ты лижешь им пятки и... кое-что еще. Не все ли равно?.. Все равно, и даже то, что мне теперь все равно, тоже все равно... — Он посмотрел на Рорка и добавил: — Если бы я только мог продержаться, пока не поставлю на ноги тебя, Говард...

— Не надо об этом.

— Надо... Странно, Говард, весной исполнится три года, как ты тут. А кажется, прошло гораздо больше, правда? И что, научил я тебя чему-нибудь? Я так скажу — научил очень многому и в то же время ничему не научил. Ведь, по сути дела, *никто* не может научить *тебя*, в смысле самую твою сердцевину. В глубине души ты сам все знаешь. И то, что ты делаешь, — это только твое, не мое, не чье-нибудь. Я могу только научить тебя лучше доводить детали. Я могу дать тебе средства, но цель — цель принадлежит только тебе. Из тебя не выйдет послушного

ученичка, воздвигающего малокровные пустячки под раннее барокко или позднего Камерона. Ты будешь... эх, дожить бы да посмотреть!

— Доживете. Вы и сейчас это знаете.

Камерон стоял, глядя на голые стены своего кабинета, на белую стопочку счетов на письменном столе, на грязные дождевые капли, медленно стекающие по стеклам.

— Мне нечего им ответить, Говард. Я оставляю тебя с ними один на один. Ты им ответишь! Всем — газеткам Винанда, тем, чьи глаза делают существование таких газеток возможным, и тем, кто стоит за ними. Я возлагаю на тебя необычную миссию. Я даже не представляю, каким он будет, твой ответ. Знаю только, что ответ будет, и этот ответ дашь ты, поскольку *ты сам* и есть этот ответ, и однажды лишь ты сумеешь найти нужные слова.

«Проповедь в камне» Эллсворта Тухи увидела свет в январе 1925 года.

Книга вышла в неброской темно-синей суперобложке с четкими серебряными буквами и серебряной пирамидой в углу. У нее был подзаголовок «Архитектура для всех». Успех ее оказался сенсационным. В ней излагалась вся история архитектуры, от первобытной землянки до небоскреба, простыми обыденными словами, понятными человеку с улицы, и вместе с тем эти слова казались высоконучными. В предисловии автор подчеркивал, что книга является «попыткой поставить архитектуру на то почетное место, которое ей принадлежит по праву, то есть в самую гущу народных масс». Далее автор признавался, что мечтает, чтобы «средний человек рассуждал об архитектуре так, как он рассуждает о бейсболе». Он не утомлял читателей техническими подробностями пяти ордеров<sup>[33]</sup>, не вдавался в описания стоек и перемычек, несущих опор и свойств железобетона. Страницы книги были заполнены доступными, простыми описаниями быта египетской домохозяйки, римского сапожника, любовницы Людовика Четырнадцатого: что они ели, как умывались, где делали покупки и какое воздействие на их существование оказывали здания, в которых они жили и которые их окружали. Но при этом Тухи создавал в читателях уверенность, что они познают все, что следует знать и о пяти ордерах, и о железобетоне; что нет и не было никаких вопросов, достижений, устремлений мысли, скольконибудь обособленных от обыденной жизни людей, равно безвестных и в прошлом, и в настоящем; что все цели и достижения науки сводятся исключительно к усовершенствованию этой обыденной жизни; что читатели воплощают в себе высшие устремления цивилизации и достигают всех мыслимых идеалов одним лишь тем, что продолжают в безвестности плачить свои дни. Научная точность Тухи была безупречной, эрудиция поразительной — никто не мог бы опровергнуть его суждений о кухонной утвари Вавилона или дверных ковриках Византии. В его описаниях были яркость и убедительность, свойственные очевидцу. Он не продирался сквозь гущу веков, а скорее, как отмечали критики, двигался по тропе времени веселой, танцующей походкой. Он являлся читателям одновременно в трех обличьях — шута, близкого друга и пророка.

Он утверждал, что архитектура воистину является высшим из искусств, поскольку она анонимна, как и все великое. Он утверждал, что в мире есть множество прославленных строений, но мало прославленных строителей, и это правильно, поскольку отдельная личность никогда еще не создавала ничего значительного в архитектуре, — кстати, и в других областях тоже. Те немногие, чьи имена сохранила история, на самом деле самозванцы, украсившие славу у народа, подобно тому, как другие крадут у народа богатство. «Когда мы созерцаем величие древнего монумента и приписываем его гению одного человека, мы совершаем непростительную духовную подмену. Мы забываем об армии безвестных невоспетых каменщиков, предшественников этого «гения» во тьме неведомых веков, которые смиренно трудились (а истинный героизм смиренен), и вносили свою малую лепту в общую сокровищницу эпохи. Каждое великое сооружение есть не творение той или иной гениальной личности, а лишь материальное воплощение духа народа».

Он объяснял, что упадок в архитектуре наступил тогда, когда на смену средневековому общинному устройству явилась частная собственность, что эгоизм частных собственников, которые строили с одной целью — удовлетворить свой дурной вкус («любые претензии на свой особый, индивидуальный вкус и есть дурной вкус»), уничтожил планомерную городскую застройку. Он доказывал, что никакой свободы воли не существует, ибо все творческие устремления людей, как и все прочее, жестко обусловлены экономическим укладом эпохи, в

которой живут эти люди. Он восхищался всеми великими архитектурными стилями прошлого, но предостерегал от их произвольного смещения. Современную архитектуру он вообще не брал в расчет, говоря, что «до сей поры она представляла собой лишь прихоти и причуды отдельных личностей, не имеющие никакого отношения к великому и свободному движению народных масс, а следовательно, и никакого значения». Он предсказывал светлое будущее, где все люди станут братьями, а все постройки — гармоничными и неотличимыми друг от друга, согласно великой традиции Греции, матери Демократии. В этом месте он сумел, ничуть не поступившись спокойной отстраненностью слога, передать ощущение, что слова, ныне четко отпечатанные, в рукописи были начертаны нетвердой рукою, дрожащей от избытка чувств. Он призывал отказаться от эгоистического стремления к личной славе и посвятить себя воплощению в камне духа народа. «Архитекторы — это слуги, а не вожди.

Они должны не утверждать свое маленькое Я, а выражать душу своей страны и ритмы своего времени. Они должны не потакать своим личным прихотям, а стремиться к общему знаменателю, что приблизит их творения к сердцу народных масс. Архитекторы... да, друзья мои, архитекторы не имеют права рассуждать. Их дело не руководить, а подчиняться».

[Скачать полный вариант книги](#)